

Ф Р И Д Р И Х
НЕЗНАНСКИЙ

**БУБНОВЫЙ
ВАЛЕТ**



**МАРШ
ТУРЕЦКОГО**

Новый роман


РОССИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

Марш Турецкого

Фридрих Незнанский

Бубновый валет

«Автор»

2005

Незнанский Ф. Е.

Бубновый валет / Ф. Е. Незнанский — «Автор», 2005 — (Марш Турецкого)

Уходя в отпуск, помощник генерального прокурора, следователь по особо важным делам Александр Борисович Турецкий еще не знал, что отдых обернется напряженным расследованием, предпринятым по заданию Комитета Бруно Шермана. Пока Турецкий и его друг Слава Грязнов раскапывают загадочные обстоятельства жизни и смерти этого великого художника, оказывается, что за его полотнами охотятся безжалостные убийцы. Какое отношение имеет к этому делу, пахнущему кровью и большими деньгами, владелец художественной галереи в Нью-Йорке и что скрывает заброшенный бункер под кодовым названием «Раменки-2», откроется читателю в конце романа.

© Незнанский Ф. Е., 2005

© Автор, 2005

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	11
3	19
4	24
5	32
6	36
7	40
8	46
9	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Фридрих Незнанский

Бубновый валет

Часть первая

Вещие сны и тревожные пробуждения

1

«Ты попался, Турецкий!»

На этот раз он окончательно попался. Нет выхода. Над головой нависают своды пещеры. Все происходит глубоко под землей, он это знает. Какой черт его сюда занес? Должно быть, преступники напоили помощника генпрокурора каким-то наркотиком и бросили сюда, но как – он не помнит. Никакой двери, никакой дороги назад. Впереди узкая кишка каменистого ущелья, откуда вытекает ручей огненной лавы. Спотыкаясь, перескакивая с камня на камень, морщась от попадающих на голую кожу жгучих брызг (враги, которые бросили его в это подземелье, оказываются, отобрали всю одежду), Турецкий пробирается туда, откуда доносится гул голосов, стоны, рыдания. Он надеется выбраться. Но когда он добирается туда, куда стремился, то убеждается, что лучше бы оставался на месте. Вместо поверхности земли, где растет трава и веет ветерок, ход привел его в новую пещеру, больше предыдущей. Гигантскую! В вышине клубятся багровые пузатые облака. Посреди пещеры возвышается голая, без растительности, гора. По ее склонам, ранив нежные ноги об острые камни, спускаются печальные девушки с распущенными волосами. Внизу они выстраиваются вереницей и уходят в жерло раскрытой пасти новой пещеры, откуда вырываются языки огня, где движутся неясные, но жуткие тени...

«Этого не может быть! Это... это же... ад!»

– Я не умер! Выпустите меня! Это ошибка! Помогите! Я живой! Живой!

– Турецкий, прекрати лягаться!

Турецкий вскочил с постели, волоча за собой сбитые в ком простыни. Ощупал свое тело, схватился за покрытый холодным потом лоб. Он был у себя в спальне, сквозь шторы которой просачивался серый рассвет, и слышно было через открытое окно, как дворник лениво скребет метлой по летнему чистому асфальту. Фу-у! Присниться же такое! Вдобавок к отвратительному кошмару сейчас еще Ирка будет ругать за то, что лягался во сне.

Но Ирина Генриховна не была настроена ругаться. Она испугалась. Между безупречно тонкими бровями подрагивала вертикальная морщинка.

– Саша, у тебя снова случился кошмар?

– Ага. На улице тридцать градусов жары, неудивительно, что ад приснился.

Турецкий изобразил смехок.

– Саша, это не смешно. Каждую ночь бормочешь, кричишь, вертишься... На работе ты такой же нервный?

На работе? На работе, в Генеральной прокуратуре, Александр Борисович Турецкий как-то раз поставил на уши всех своих подчиненных и учинил им разнос за то, что потерял важный документ; а через час, остывая и стыдясь своей вспышки, поднял кофейную чашку и обнаружил, что она преспокойно стояла на секретном материале и даже оставила на нем расплывчатый коричневый след. Никогда не любил кофе; другое дело – рюмочка коньяку или чашка чаю – крепкого, ароматного, черного! Но в последнее время кофе вошел в распорядок дня. Без кофе

на Турецкого нападала апатии, и тогда он сидел, усталым взглядом вперившись в пространство, и думал: «Вот еще минутку посижу и встану. Непременно встану. Но вначале посижу...»

Началось это в марте, и поначалу он списывал слабость на весенний авитаминоз. Но на дворе – середина июля, съедено энное количество фруктов, авитаминоз давным-давно прошел. Значит, не то. Значит, что-то другое. Хуже. Все хуже и хуже. Вначале раздражительность, которую отметили сотрудники; затем забывчивость; потом постоянная усталость; а теперь вот уже и до кошмаров дошел. С чем вас и поздравляем, Сан Борисыч.

Неужели старость подступает? Объявившийся на днях выходец из прошлого судмедэксперт Живодеров, давний приятель тех лет, когда перспективный юрист Саша рысил по всей Москве в составе следственной бригады, просветил его насчет современной классификации возрастов. «По воззрениям медицины, – непререкаемо изрек дряхловатый эксперт, вертя сигарету в желтых пальцах (Турецкому всегда мерещилось, что от них пахнет формалином, а не табаком), – человек считается молодым до сорока пяти лет». Сорокапятилетний юбилей важняк Турецкий справил два года назад, значит... Значит, теперь он человек немолодой. Классификация против него, ничего не попишешь.

Словами Живодерова с Ириной, которой до конца молодости предстояло пройти некоторую дистанцию, Турецкий делиться не захотел. Зато исправно доложил обо всем остальном – и о раздражительности, и о пропавшем документе, и о том, что как-то его в последние четыре месяца ничто не радует...

– Саша, – Ирина взяла его за руку. Они сидели, обнявшись, на кровати, посреди сбитого в кучу оранжевого постельного белья с черными тигровыми полосами, будто позади у них была бурная ночь. – Саша, очень тебя прошу, пообещай мне одну вещь.

Турецкий терпеть не мог обещать неизвестное. Тем более жене.

– Что обещать?

– Это для твоей же пользы.

Тем более опасно давать обещание. Понятия о том, что пойдет на пользу мужу, у Ирины бывали своеобразные, иногда диаметрально противоположные его собственному мнению.

– Нет, ты сначала скажи, а потом я пообещаю. Как я могу сказать, если не знаю, о чем ты попросишь?

– Я очень прошу тебя, Саша, обратиться к врачу.

Турецкий походов к врачам терпеть не мог, особенно ненавидел стоматологов, и обращался к людям в белых халатах, когда совсем некуда было деваться. Но сейчас, похоже, именно тот случай.

– К какому врачу? – все-таки поинтересовался он. – Договаривай. К психиатру?

– Почему обязательно к психиатру? Мало ли специалистов в вашей спецполиклинике? Невропатолог... терапевт...

Ирина внимательно следила за его реакцией. Вот чем, подумал Турецкий, вот чем отличается жена от любовницы. Разве кто-нибудь из его любовниц беспокоился о его здоровье, просил обратиться к врачу?

– Ладно, Ира. Если тебе так будет спокойнее, пойду в поликлинику.

– Ах ты мой умница! – Ирина покровительственно чмокнула мужа в щеку. – Тогда я позвоню, чтобы тебя записали на среду или четверг.

Для Турецкого до сих пор были привычны коридоры родной Генпрокуратуры, коридоры офисов, коридоры власти... Теперь пришлось привыкать к коридорам поликлиник и больниц. Остатки прежней системы спецраспределения, эти больницы и поликлиники отличались безукоризненной чистотой и блистали приметами недавнего евроремонта. И все равно, запах человеческого страдания пронизывал их осязательнее, чем запах лекарств.

Судя по тому, как совещались за его спиной доктора спецполиклиники, дело оказалось серьезнее, чем он думал. Его направили на массу исследований, его кололи во все части тела, за исключением разве что главной мужской, и наконец вручили длинную выписку, из которой Турецкий ничего не понял, кроме заключения: «Эндогенная депрессия. Страхи». Что такое «эндогенная», он, впрочем, не знал. А вот с диагнозом «страхи» был согласен полностью. Сон про ад повадился навязчиво повторяться. Раз в неделю, словно по расписанию, Турецкий просыпался с криками и дико колотящимся сердцем, а потом долго не мог успокоиться.

От помощи популярных нынче психоаналитиков Турецкий брезгливо отказался. Психоаналитик рисовался ему шарлатаном, который укладывает пациента на диван, а сам ходит вокруг и внушает, что пациента бросила пятая жена по той причине, что в детстве он мечтал связать корабельным канатом свою бабушку. «У генералов подсознания нету, – отшутился Турецкий. – Лучше останусь со своей депрессией». Однако Ирина развила бурную деятельность и вышла через знакомых своих знакомых на уникального специалиста. Вениамин Михайлович Светиков, психолог, психиатр, академик РАН. «Нет, Саша, никаких отговорок! К нему ты обязан пойти!» И Турецкий пошел, с горечью отмечая, насколько привычным стало для него положение больного.

Больница, на пятом этаже которой находился кабинет Светикова, приятно удивила Турецкого. Он опасался, что психически нездоровые люди начнут приставать к нему с нелепыми вопросами, скрежетать зубами, стонать и вопить, как обреченные души в его адском сне. Выяснилось, что пациенты этого заведения мало похожи на психов. Люди в обычных домашних, не казенных, пижамах и халатах бродили по застеленному желтым клетчатым линолеумом коридору, направляясь, должно быть, в столовую, на процедуры или в туалет, смотрели телевизор в холле, даже играли в шахматы. В конце коридора на двери орехового дерева висела шикарная, под бронзу, табличка с именем и титулами светила психиатрии. Турецкий постучал в дверь.

– Войдите! – откликнулся из-за двери Светиков.

Еще по голосу Турецкий мысленно составил его портрет и не ошибся. Еле возвышавшийся над своим столом, заваленным бумагами, Вениамин Михайлович плотно заполнял жирными боками просторное служебное кресло. Крупный нос, глазки, похожие на черносливины, вставленные в рыхлое морщинистое лицо. Умные, маленькие, доброжелательные. Всем своим видом он сигнализировал: «Располагайтесь, как вам удобно, не стесняйтесь, вы только взгляните на меня, чего меня стесняться?» И Турецкий безо всякого стеснения представился:

– Александр Борисович Турецкий.

– Да, как же, как же, мне говорили. Александр Борисович... Пожалуйста, присаживайтесь. Что, страшно было идти по психиатрической больнице?

А он действительно психолог!

– Нет, у вас уютно. Я ожидал худшего.

– А чего же вы, позвольте полюбопытствовать, ожидали?

– Ну... мне казалось, в психиатрических больницах люди обязательно кричат.

Вениамин Михайлович кивнул, будто именно такой ответ он и ждал услышать. Черепашьи складки на его шее растянулись и снова сложились над белым до синевы воротничком.

– У нас здесь никто не кричит. А знаете, почему, Александр Борисович? Вы позволите мне, старику, звать вас Сашей? Так вот, Саша, как вы думаете, почему люди кричат?

– От боли. – Почему-то это вырвалось первым. – От раздражения. От бессилия... – Как хорошо он это узнал за последние четыре месяца!

– Это в частности. А вообще?

Турецкий пожал плечами.

– Человек кричит, – наставительно произнес Вениамин Михайлович, – когда хочет, чтобы его услышали. Ему больно, а никому до этого нет дела. Он говорит обычным голосом,

а к нему не прислушиваются. Все как будто далеко, на другом краю обрыва. И тогда человек начинает кричать... За многолетнюю практику я осознал, что человека нужно слушать, тогда у него не будет потребности в крике. Сейчас я не на другом краю обрыва, я рядом с вами, Саша. И я вас внимательно слушаю. Что у вас болит?

Слово за слово Турецкий рассказал ему обо всех своих неприятностях и страшных снах – так подробно, как не рассказывал даже Ирине. Светиков не перебивал, только иногда задавал уточняющие вопросы или ненавязчиво подсказывал детали, которые Турецкий забыл или счел ненужными. «Откуда он это знает? Ну и светлая голова у этого Светикова!» Но параллельно проскользнула мысль: уж не являются ли эти детали симптомами заболевания? Сейчас добрый доктор скажет так ласково: «Голубчик, вы должны у нас остаться. Сейчас вам выдадут пижаму. Пожалуйста в палату для тихих...»

– Знаете, Вениамин Михайлович, жена порой кричит на меня в раздражении: «Саша, ты что, с ума сошел?» Вроде бы просто штамп такой, но в последнее время я задумываюсь: вдруг в этом что-то есть? Такой стал странный, сам себя не узнаю.

– Страх психической болезни, – умудренно усмехнулся Светиков, – один из главных страхов современного преуспевающего человека. Как правило, он не имеет оснований. Если вам кажется, что с вами происходит что-то необычное, не пугайтесь. Сознание такого сложного существа, как человек, преисполнено странностей.

Турецкому показалось, что ему сразу стало легче, что депрессия испарилась и он выйдет из кабинета Светикова абсолютно здоровым. Вениамин Михайлович так не считал. Достав из нагрудного кармана пиджака старомодную ручку с золотым пером, взял бланк с печатью и принялся увлеченно строчить.

– Вы, дорогой Саша, – приговаривал Светиков параллельно записям, – нуждаетесь в отдыхе. Не менее тридцати дней. И в ближайшее время.

– Отдых? Я третий год без отпуска вкалываю.

– Вот-вот. Что и требовалось доказать. Работа в прокуратуре, знаете ли, налагает отпечаток. Вы все время вращаетесь в аду преступлений, так что неудивительно, что вам снится ад. Вы не сошли с ума, это я вам гарантирую. Но если будете продолжать в том же духе, за ваше психическое здоровье я лично поручиться не смогу.

Золотое перо неудержимо покрывало бумагу фиолетовыми строчками.

– Вениамин Михайлович, только не пишите, что я могу свихнуться. Как я своему начальству такую справку представлю?

– Я напишу, что ваше состояние, вызванное крайним переутомлением, грозит осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. И не погрешу против истины. Поэтому назначения мои рекомендую выполнять. Да-да, строго и досконально выполнять!

Турецкий сперва с любопытством, потом с ужасом, потом почти с восторгом наблюдал за тем, как Светиков составляет список назначений. Третий пункт... седьмой... двенадцатый... Перед восемнадцатым пунктом золотое перо притормозило.

– Саша, – раздался заговорщический шепот академика РАН, – а как с женщинами?

– С тех пор, как эти сны, редко. Раз в неделю... раз в две недели...

– Саша, я все понял. Я выпишу вам левитру. Вы знаете, что такое левитра, Саша? Это чудо, молекулу варденафила, создал немецкий биохимик Эрвин Бишофф. В тот сложный период жизни у него были крупные нелады с женой. Жена его была огромная горячая брюнетка, ну, представьте себе... – Психиатр изобразил вокруг кресла очертания фигуры, еще обширнее собственной. – Левитра действует так же, как виагра, но без нежелательных эффектов. Депрессия, Саша, во многом болезнь самооценки. Повышение самооценки ставит на депрессии крест. Думаю, не надо вам объяснять, какой жизненный аспект существенно сказывается на самооценке мужчины? Держите рецепт. Пользуйтесь. Вы человек молодой!

Турецкий почувствовал, как к нему возвращается отнятая Живодеровым молодость. Ничего, гвардия еще повоюет!

– И отпуск! – несло ему вслед, пока не захлопнулась дверь кабинета. – Скорее в отпуск! Здоровый сон, чистый воздух, открытые девичьи купальники! К морю, в горы, в тайгу, в Саратов! Куда хотите! Не меньше тридцати дней!

Константин Дмитриевич Меркулов принял в своем кабинете давнего друга и соратника Турецкого радушно, как всегда. Позвонил Клавдии и велел принести две чашки крепкого чая. Но просьба об отпуске заставила заместителя генерального прокурора поморщиться.

– Саша, Саша, как не вовремя ты нас покидаешь! А кто будет разбираться с делом садистов?

– Садистов? Это не по моей части. А что они делают: нападают на людей?

– Ну, откровенно говоря, никакие они не садисты. Это некий острослов пустил неудачную шутку, и, как видишь, даже я подпал под ее влияние. Я предполагал, ты в курсе... Речь идет о дачном поселке на берегу Истры, построенном нашими... не самыми бедными, скажем так, гражданами. У них возник конфликт с местной администрацией, которая собирается поселок сносить. Дачники утверждают, что администрация покушается на зеленые насаждения, те самые сады, которыми они облагородили берег Истры, администрация же возмущается и приводит такие подробности, которые, мягко скажем, требуют вмешательства прокуратуры.

– Нет, Костя, только через мой трупешник! И без того ад снится. Ты хочешь, чтобы мне в комплекте с адом являлись по ночам олигархи-садоводы? Не возьмусь.

Турецкий протянул Меркулову могучую выписку из истории болезни, к которой была пришпилена с трудом уместившаяся под скрепку растрепанная кипа рецептов. Пролистав скорбное досье, свидетельствующее, что во имя сохранения жизни и здоровья Турецкого А. Б. его надлежит немедленно отправить в отпуск, Костя задумчиво оттянул мешок под глазом длинным, выдающим дворянскую породу пальцем.

– Что ж. Если так, Саша, ничего не поделаешь. А жаль, жаль... Клавдия, что это за чай? – негативная эмоция, вызванная временной потерей ценного сотрудника, обратилась на секретаршу. – Заварите как следует! Неужели у нас кончилась заварка? Это не чай, а... а...

– Писи сиротки Хаси, – с невинным видом подсказал Турецкий.

– Писи си... – на автомате повторил Костя и оборвал себя хмыканьем. – Саша, ты в своем репертуаре! Откуда ты только берешь такие выражения?

– Из окружающей среды, Константин свет Димитриевич.

Окружающая среда у них была одной и той же, но, на удивление, к Косте Меркулову не приставало ничего низкого. Меркулов был аристократом в словах, внешности и поступках. Иногда это мешало его друзьям, иногда помогало. В данном случае – помогло: благородство не позволило Константину Дмитриевичу отказать своему лучшему подчиненному в заслуженном отпуске.

...Ну и ну! Новое слово в медицине! Оказывается, депрессия – болезнь заразная. Причем передается она на расстоянии и даже по мобильному телефону. Судите сами.

Едва Турецкий вышел из кабинета Меркулова, лелея в папочке драгоценное, подписанное начальником прошение об отпуске, как мобильный на поясе его брюк под пиджаком настойчиво и бодро запиликал.

– Салют, генерал! Как жизнь?

– Салют, генерал! – Звонил Слава Грязнов, закадычный дружище и начальник управления МВД. – Дела такие, что случаются раз в три года, а то и реже. В отпуск уйду!

– В отпуск? Надолго? С какого числа? Как добился?

Поговорили – и готово дело, зараза перекинулась на Грязнова. Он тотчас принялся путать документы, испытывать слабость, а к концу дня депрессия одолела его настолько, что не оста-

валось ничего другого, как бежать к чудесному доктору Вениамину Михайловичу. Тот, узнав, что перед ним Сашин друг, немедленно осчастливил его пространной выпиской, свидетельствующей о том, что нервная система грозы московских уголовников вконец истощилась от тяжелой и грязной работы.

– Вы теперь не просто друг, – напутствовал Грязнова Вениамин Михайлович, приподнявшись на прощание из своего кресла, – вы мой помощник. Увезите Турецкого подальше от Москвы. Проследите за ним, чтобы он соблюдал режим дня, правильно питался и принимал лекарства. И, умоляю, ограждайте от всяких этих ваших уголовных дел!

Вячеслав Иванович твердо обещал оградить.

2

– Уважаемые пассажиры, мы совершаем рейс номер четыре тысячи триста тридцать восемь Варшава – Москва. Прослушайте правила поведения на борту...

Для Яцека Зенкевича не представляли ни малейшего интереса правила поведения на борту. Десять минут спустя не заинтересовало его и созерцание стюардессы, с улыбкой фото-модели демонстрировавшей процесс надевания спасательных жилетов. Единственной вещью на всем белом свете, которая в данный момент привлекала его внимание, были ноги пани, занимавшей место напротив через проход. Удивительные, редкостные ноги! Длинные, но не тощие, крепкие, но без лишней мускулистости, в чулках с розоватым отливом, которые придавали сексуальным икрам девичью невинность. Дар природы, королевские ноги! С обладательницей таких нижних конечностей стоило завязать ни к чему не обязывающий флирт, повести ее вечером в бар. Яцек бывал в Москве, знал местные заведения и вообще был человеком состоятельным. Увы, на чудных, редкостных коленях лежал ноутбук, по клавиатуре которого увлеченно щелкала пальцами пани. Оторвется ли она когда-нибудь от своей железяки? Хоть бы встала размяться, хоть бы в туалет отлучилась! С того момента, как присела, щелкает и щелкает! Да что там у нее такое захватывающее?

– Завтрак, чай, лимонад?

Стюардесса с дежурной улыбкой разносила напитки. Пани с ноутбуком не откликнулась. Отозвался ее сосед, сидевший возле иллюминатора потрепанный тип с брюшком, в потертом линиялом джинсовом костюме и клетчатой красной рубаше, как у американского фермера:

– Два лимонада, пожалуйста.

Похоже, что эти двое летели в Москву вместе. Что только элегантная пани в нем нашла? Яцек оценивающе посмотрел на ее спутника. Линялая джинса, клетчатая рубаша, двухдневная небритость, длинноватые кудрявые волосы, пробитые на макушке лысиной. Лох обыкновенный, да еще и престарелый. Но то, что пани не одна, охладило пыл Яцека. Он отвернулся от выдающихся конечностей и занялся кроссвордом из последнего номера «Жиче Варшавы».

В эту минуту обладательница королевских ног Ванда Завадская оторвала усталые, покрасневшие глаза от экрана портативного компьютера и устремила взгляд за иллюминатор, хотя смотреть там было абсолютно не на что, кроме ровной, пронизанной июльским солнцем атмосферной голубизны.

На экране остался гореть текст:

«ВОСКРЕШЕНИЕ РУССКОГО АВАНГАРДИСТА

Так что же случилось с Бруно Шерманом?

Русская культура возвращает себе то, что принадлежит ей по праву. С 20 мая по 14 сентября в московском Музее русского авангарда проходит выставка шедевров русского авангарда, организованная частным коллекционером, известным меценатом Семеном Талалихиным. В настоящее время Талалихин проживает в Монако, где владеет футбольным клубом «Ахиллес», однако не забывает родную страну. Десять картин из представленных на выставке относятся к его богатейшей коллекции произведений искусства, остальные он вывез из музеев Омска, Иванова, Рязани, где они пылились в запасниках. На устройство этой выставки Семен Талалихин потратил 500 000 евро.

«Вкладывать деньги в то, чтобы русские люди знали и любили шедевры своего изобразительного искусства, – заявил он прессе, – значит вкладывать их в будущее величие России».

Несомненно, посетители выставки высоко оценят представленные здесь полотна, принадлежащие кисти Бруно Шермана. Творчество этого крупнейшего художника оставалось долгое время скрытым от русской публики. Его судьба одновременно и необычна, как судьба любого гения, и в какой-то мере типична для человека его национальности, его среды, его эпохи. Польша и Россия – вот две страны, с которыми связана жизнь художника. Сын известного варшавского адвоката, с детства владевший несколькими иностранными языками, в том числе и русским, Бруно Шерман приехал в Москву в 1908 году, чтобы продолжить здесь образование и развить талант художника. Уже его ранние работы показывают, что направление, в котором работал Шерман, резко отходит от принятой в то время академической манеры письма. Вскоре он становится членом возникшего в 1910 году объединения живописцев-авангардистов «Бубновый валет». «Бубновый валет» вырос из заимствованного постимпрессионизма, из сезаннизма, из Ван Гога, Матисса и Гогена, но усвоил их настолько органично и талантливо, что из эпигонского превратился в оригинальное художественное явление. Петр Кончаловский, Роберт Фальк, Александр Куприн, Александр Осмеркин, Аристарх Лентулов, Владимир Татлин, Илья Машков, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, менее известные, но от этого не менее значительные Бейгун, Грищенко, Плигин, Рождественский – вот имена «бубновых валетов», которые составляют ныне пантеон русского авангарда. И хотя объединение просуществовало до 1917 года, последователи его в живописи существуют и сейчас.

Бруно Шерман стоит особняком даже в этом ряду блестящих имен. Многие искусствоведы называют его одним из основателей современного искусства, и с ними можно согласиться. К сожалению, сохранилось не так много полотен Шермана, многие бесследно исчезли. Это связано с обстоятельствами жизни художника и его смерти, наступившей, как указывают официальные источники, во время гитлеровской оккупации Львова. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Бруно Шерман приехал во Львов, аннексированный в 1939 году, согласно пакту Молотова – Риббентропа, где проживал его брат Мстислав. После того как немецкая армия вошла во Львов, Шерман вместе со своим братом и тысячами других львовских евреев вначале оказался в гетто, а затем был расстрелян зондеркомандой.

Такова общепринятая версия. Но есть и другие. Недавно открывшаяся выставка уже стала сенсацией. На ней представлено полотно из частной коллекции, принадлежащее, по мнению самых авторитетных экспертов, кисти Шермана. По составу красок и характеру холста можно сделать заключение, что оно написано не ранее шестидесятых годов минувшего двадцатого века. Картина, получившая название «Дерево в солнечном свете», изображает, как утверждают ботаники, карагач – растение, характерное главным образом для Средней Азии. Если верить этим данным, получается, что Бруно Шерман каким-то образом выжил во время львовской оккупации. В шестидесятые годы он был еще жив и работал в Средней Азии. Какие ветры занесли туда варшавянина? Проживал ли он там постоянно или посещал эти края как

турист? Представители польского Фонда Бруно Шермана желали бы провести расследование с целью установить истину.

Не ошибаются ли специалисты? Действительно ли жизнь Бруно Шермана оборвалась позже, чем утверждают его биографы? Сколько картин, кроме «Дерева в солнечном свете», он написал после своей официальной смерти и увидит ли их мир? Время задает загадки, на которые мы пока не находим ответа».

Сигнализация ноутбука угрожающе запищала, предупреждая, что заряда в аккумуляторах почти не осталось. Ванда Завадская успела выключить компьютер, аккуратно закрыла его и откинулась на спинку мягкого кресла, созерцая заоблачные дали. В этой ослепительной голубизне было что-то помогающее рассуждать.

Тридцатисемилетняя Ванда, известная журналистка, специализирующаяся на вопросах искусства, считалась не последним человеком в варшавской светской жизни. А с тех пор как она возглавила общественный комитет имени Бруно Шермана, известность ее возросла. Кстати, руководить деятельностью комитета ее попросила сама пани Иоланта Квасьневская, жена нынешнего президента, с которой они подружились еще в юности, когда сами шили себе мини-юбки, потому что в социалистической стране даже это было дефицитом. Да-а, скажи им кто-нибудь в те времена, что еще при их жизни в Польше будет президент, а этим президентом станет Александер – вот было бы смеху на всю компанию! Но суть не в этом, а в том, что Шерман в Польше необычайно популярен, а пани Иоланта – его дальняя родственница. Следовательно, для поляков дело чести – узнать наконец, что стало с их великим соотечественником, и, если удастся, спасти для родины еще несколько его картин.

И, как вскоре выяснилось, не только для поляков. Через неделю после открытия знаменитой выставки, осложненной скандалом вокруг картины «Дерево в солнечном свете», в доме Ванды раздался звонок. Некая женщина предупредила, что сейчас с госпожой Вандой Завадской будет разговаривать заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по обороне. Ванда как раз переодевалась к приему гостей и замерла с трубкой возле уха, придерживая свободной рукой лямку незастегнутого лифчика. На кухне кипела и плелась тушеная капуста, которой предстояло превратиться во вкусный бигос. «Это какая-то ошибка!» – не успела выпалить Ванда, как женский голос в трубке сменился мужским. Заместитель госсекретаря по обороне поздоровался по-польски, но после первых же слов они перешли на английский, которым журналистка владела великолепно. Джордж Шерман, правнук Бруно, был глубоко растроган тем, что на родине прадеда так чтят память великого сына польского народа, и готов внести свой вклад в дело сохранения и приумножения наследия художника; особенно если удастся установить, что же случилось с Бруно. Вклад Джорджа составит миллион долларов. От госпожи Завадской требуется всего лишь назвать номер счета, на который следует перевести деньги. Миллион долларов – сумма более чем значительная, но Ванда была поражена даже не ее размером, а тем, что в голосе заместителя военного министра США, которому по должности полагалось быть хладнокровным и невозмутимым, послышались слезы, когда он произнес «мой прадед». Если Бруно Шерман спустя столько лет остается так дорог, так нужен людям, ради него стоит работать! И энергичная Ванда взялась за работу засучив рукава.

После сенсационного заявления, сделанного экспертами, комитет Шермана направил сразу несколько запросов в различные правительственные органы России, Германии и Украины. Из Германии пришел вежливый ответ: установить, действительно ли художник Шерман был расстрелян во время оккупации Львова, не представляется возможным, так как расстрельные списки уничтожены; но, так или иначе, правительство Германии пользуется случаем еще раз заявить о своем раскаянии в том, что немецкий народ причинил во время Второй мировой войны такие страдания польскому народу. В тоне русских и украинских ответов не было ника-

кой извиняющейся интонации. Скупое и сухо на официальных бланках с печатями сообщалось: «Не был... Не состоялся... Не значился... Утрачен архив...»

И вот теперь она летит в Россию с новым, необычным предложением, которое должно сдвинуть дело с мертвой точки. Оно поможет окончательно установить факты жизни и смерти звезды русского и польского авангарда. Для этого нужны большие деньги, но благодаря Джорджу Шерману в средствах комитет не стеснен...

– Будешь пить лимонад, Ванда? – вывел ее из задумчивости спутник, наклонившись к самому уху Ванды. Очнувшись от размышлений, Ванда удивленно посмотрела на серый пластмассовый поднос, на котором в приземистой чашечке плескалась желтоватая, успевшая нагреться жидкость.

– Нет, спасибо, Лео. Можешь выпить мою порцию.

Продюсер, коммерсант и владелец художественных галерей как в Варшаве, так и в Берлине, знаменитый Лев Ривкин шел по Садовому кольцу. Ему не составило бы труда подкатить к нужному месту на белом «мерседесе» или, того лучше, на изысканно-длинном «линкольне». Москва – не Рим, здесь отсутствуют правила, запрещающие въезд в историческую часть города на автотранспорте, размеры которого превышают определенный стандарт. Почему же Лев Ривкин, как обычные «безлошадные» граждане, напрягал свои отвыкшие от физических нагрузок ноги в намерении добраться туда, куда ему надо? Возможно, он направлялся к человеку, которого совершенно не хотел поражать своим богатством. Тем более, Лев никогда не любил форсить: как человек с безупречным вкусом, он терпеть не мог бросающихся в глаза золотых побрякушек, бриллиантовых запонок и прочих примет ошалевших от собственного везения нуворишей. Либо Лев Ривкин слишком давно не был в Москве, уроженцем которой всегда себя считал, и просто прогуливался по знакомым местам. Действительно, по документам он появился на свет в городе Дрогобыче, что способствовало его эмиграции в Варшаву, а позже в Западный Берлин. Но маленького Леву, завернутого в пестрое лоскутное одеяльце, мать, торопясь встретиться с отцом-военным, привезла в столицу необъятной советской родины, когда младенцу было всего два месяца от роду, и первые его воспоминания, первые шаги, первые школьные отметки, первые любовные радости были связаны с Москвой. Эта память – память сердца – не давала ему покоя все время разлуки с любимым городом.

Лелея воспоминания, Лева совершил длинную прогулку: от гостиницы «Арбат» в Плотниковом переулке по Арбату до высотки на Смоленской площади, а оттуда по Садовому кольцу до Сухаревской площади, бывшей Колхозной. От незабвенного старого Арбата, по которому Лева бегал в кино на фильмы про разведчиков, во дворах которого играл с друзьями в футбол мячом, набитым тряпками, придававшими ему каменную плотность, – не осталось ничего, кроме театра Вахтангова и зоомагазина, да и те сменили фасад. Фонари из спектаклей о прошлом (ах да, уже позапрошлом) веке, интернациональные орды панков и хиппи, множество лотков и лавчонок с сувенирами – Арбат стал улицей для прогулок туристов, а не для повседневного бытия. Садовое кольцо изменилось еще сильнее. Повсюду стояли рекламные щиты – дорогие и эффектные снимки не менее дорогих и эффектных товаров. Лева испытал внезапный приступ грусти. Впрочем, чего он ждал? Что за частоколом полосатых пограничных столбов в заснеженной столице северного государства он увидит не изменившийся оазис детства? Детство Ривкина было прекрасно, потому что детство прекрасно всегда. А вот за юношеские годы ему совсем не было оснований благодарить партию и правительство.

Собственно, он не натворил ничего, что считалось противозаконным в США или в Германии. В любом нормальном государстве его поступок не удостоился бы внимания полиции. Но Советский Союз не был нормальным государством, и отношение его к своим гражданам не было нормальным. Лева оказался чуть сообразительнее, предприимчивее, решительнее своих друзей – и попал под следствие, в то время как они остались на свободе. Конечно, по молодости

он действовал с безумной неосторожностью. У него не было ни связей в милиции и партийных органах, ни денег. У него не было влиятельных родственников. У него осталась одна только мать, которая рыдала в убогой комнатухе коммунальной квартиры, а потом вытирала слезы и несла на свидание непутевому сыну куриный суп в банке, тщательно обвязанной марлей с жирными пятнами. «Лева, обязательно ешь суп, а то испортишь желудок», – твердила она подследственному, словно дошколенку. Даже много лет спустя после того, как все наладилось, когда пришли заслуженные деньги и почет, Ривкин не переносил вкуса курицы. Куриный суп, в котором плавали разваренные рис и морковка, ассоциировался у него с безнадежностью, с беспросветным будущим, в котором только тюрьма, параша, издевательства потерявших человеческий облик воровских авторитетов, смерть гражданская, а может, и физическая. Смириться? Протестовать? И то и другое бесполезно. «Не теряйте, пане, силы, опускайтесь на дно». Он бы и опустился, и утонул. Если бы не один человек...

В супермаркете возле Сухаревской Лев Ривкин потолкался у прилавков со спиртным, передумал и на другой стороне в цветочном магазине приглядел изысканные антурии, но, вспомнив бытующие в стране вкусы, купил букет темно-алых, почти вишневых роз и пошел дальше по Сретенке.

Семен Семенович Моисеев сегодня встал поздно. Обычно он просыпался рано, часов в пять, и немедленно принимался за работу, но с шести до семи утра не покидал свою комнату, потому что это время принадлежало Насте. Настя беспрепятственно плескалась в ванной, гремела чайником на кухне, бегала по коридору в легких шлепанцах, это был ее час, и деликатный Семен Семенович не мог нарушить право молодой женщины, вынужденной жить в условиях коммунальной квартиры, спокойно собираться на работу. А сегодня Моисеев проснулся от заключительного аккорда Настиних каблучков по старинному паркету прихожей и успел услышать позвякивание, с которым она обычно поворачивала свой ключ в старинном замке. «Это что же ты, ленивец, заспался? Никуда не годится! – прикрикнул он на себя. – А ну-ка, Сеня, не залеживаться! Живо! Раз-два, раз-два! Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай!» Отбросив одеяло, Семен Семенович вскочил с постели и выполнил несколько гимнастических упражнений, с припаданием на хромую ногу, но достаточно бодро.

В прошлом старший следователь Мосгорпрокуратуры, советник юстиции Семен Семенович Моисеев и на пенсии оставался бодрым и твердым духом. Он считал, что старение тела – неизбежность тяжкая, но не такая уж страшная. Гораздо хуже, если стареют мозги. А чтобы не старели мозги, нужно не позволять им заплывать жиром. Иными словами, постоянно тренировать их умственным трудом. В чем, в чем, а в умственном труде Семен Семенович недостатка не испытывал! Сразу после выхода на пенсию Моисеев устроился сразу в три небольшие коммерческие организации юрисконсультom на полставки. Финансовый мир столицы, вставшей на капиталистический путь развития, но не желавшей оставить социалистические привычки, напоминал населенный хищниками дикий лес, а потому Моисеев, как опытный практик, постоянно давал своим подопечным советы. Как ловчее избавиться от домогательств налоговых органов, считающих, что каждая организация должна функционировать исключительно для того, чтобы платить налоги. Как замести следы не совсем честной деятельности, а таковые есть и будут, потому что законы так хитро составлены, что чистой, как стеклышко, деятельностью у нас не проживешь... Ну а если сотрудники обслуживаемой конторы по неосторожности вляпаются в юридически сложную ситуацию, у Семена Семеновича всегда наготове беспроблемный вариант: господин адвокат, Юрий Петрович Гордеев. Он не только отмажет от суммы и от тюрьмы, но и отстегнет долю гонорара своему деловому партнеру. Вот так и крутился Семен Семенович, добывая солидную прибавку к пенсии в одном из самых дорогих городов мира. А вы говорите, старость!

Потребности у Моисеева, если разобраться, были самыми скромными. Лишь бы на жизнь хватало, а всем остальным он доволен. И свою комнату с высокими потолками и лепным плафоном в одной из коммунальных квартир на Сретенке ни на какую другую менять не хотел. Он к ней привык. Опять же, постоянно люди новые, интересно... Вообще-то, согласно закону, в коммунальные квартиры, если там освобождаются комнаты, запрещено вселять новых жильцов, но никто и не вселялся. Просто соседи Семена Семеновича, а точнее, внуки его давних незабвенных соседей, с которыми в былые годы он съел не один пуд соли, давно переселились в Крылатское, а комнату сдавали. В последнее время сдавали Насте. И Семен Семенович ловил себя на том, что хочет, чтобы она подольше отсюда не съезжала. Хотя, должно быть, с его стороны это старческий эгоизм.

Настя приехала из Барнаула покорять столицу как модельер. Денег, что ежемесячно переводят ей родители, хватает на оплату комнаты в коммуналке, чуть-чуть остается на еду. За полтора года покорения Москвы Настя сменила уже пять мест работы. Юдашкин и Зайцев ее талант пока не оценили, но судя по тому, что рассказывает Настя Семену Семеновичу за чаем, понижая голос и делая страшные глаза, рано или поздно это великое событие произойдет. Вечерние чаепития, когда за окном догорает закатное золото на крышах домов, окружающих памятник Воровскому, вошли у них в традицию. Насте хотелось поделиться дневными впечатлениями с кем-то более опытным и мудрым, а Семен Семенович наслаждался роскошной возможностью давать бесплатные советы.

– Мне кажется, начальник мной интересуется... ну, как женщиной, – как-то рассказала Настя.

– Не поддавайся, – предостерег ее Семен Семенович. – Воспользуется и уволит. Взять хотя бы дело Алины Пеструхиной в девяносто седьмом году...

– Что ж я такая невезучая? – вздохнула Настя. – Может, мне в церковь ходить, свечки ставить?

И Семен Семенович, атеист, обходивший стороной и церкви, и синагоги, поддерживал ее:

– Что же, пойди поставь. Если не поможет, все-таки не навредит. Зачем Богу делать плохо такой хорошей девушке?

У обоих становилось теплее на душе и от чая, и от разговоров. Москва – город холодный, хочется согреться. Его сыновьям-близнецам там, в Израиле, и так тепло. Даже жарко. Взрываются автобусы, горят арабские поселения, подожженные евреями, и еврейские, в которые подкладывают мины арабы. И тех и других заматает песок. Сыновьям Семена Семеновича это нравится, они там на своем месте, они полюбили израильскую землю. Им уже нет никакого дела до русской земли, которую поливал своей кровью отец. Раздробленная нога так и не срослась правильно... А все-таки на этой хромой ноге он пятьдесят четыре года бегал в Мосгорпрокуратуру, а теперь бегаёт по своим коммерческим конторам и еще побегает, если даст Бог, в которого Семен Семенович, хотя не ставит свечки в церкви и не молится в синагоге, кажется, в последнее время стал верить.

То, что произошло в утро позднего пробуждения, можно было расценить как поданный Богом знак. Как свидетельство того, что ни одно доброе дело не пропадает бесследно.

Едва Семен Семенович, наскоро позавтракав и почистив зубы, уединился в своей комнате, чтобы пролистать подготовленные для налоговой инспекции документы, по закоулкам коммунальной сретенской квартиры прокатился звонок. Его громкое «дон-дон» звучало уныло и торжественно, как погребальный звон. Семен Семенович много лет собирался сменить звонок, но все как-то не доходили руки, а потом привык. Отчасти он даже полюбил этот необычный глубокий звук, среди суматошных будней напоминавший о вечности. Но сегодня, во внеурочный час, звонок буквально оглушил Моисеева. Кого бы это в его стариковское жилище занесло? Почтальона с пенсией? Не может быть, сегодня ведь не семнадцатое число... Семен Семенович заглянул в глазок. На лестничной площадке топтался, кажется, немолодой, но

отлично, по-заграничному, сохранившийся человек в джинсовом костюме и красной клетчатой рубашке. Нижнюю часть его лица прикрывал роскошный, как клумба возле провинциального Дворца культуры, букет темно-красных, почти вишневых, роз, а верхняя часть лица кого-то напоминала Семену Семеновичу. Вспомнить бы: кого?

– Кто там? – дрогнувшим голосом спросил Семен Семенович.

– Семен Семенович, это я, Лев Ривкин. Лева Ривкин, вы меня не помните? Спекуляция, два года общего режима!

Если бывший ученик захочет напомнить о себе учительнице, он скажет: «Я Петя Иванов, третья парта в ряду возле окна, вы мне постоянно ставили тройки за диктант». Если бывший пациент захочет напомнить о себе врачу, он представится: «Сергеев, язва желудка, вы меня успешно оперировали». А как напоминают о себе следователям бывшие подследственные? Именно так, как это сделал Лева.

Мало ли в служебной биографии Семена Семеновича было спекулянтов? Но Леву он вспомнил сразу. Настолько, что сейчас же завозился с замком, после чего широко распахнул дверь:

– Лева Ривкин! Как же не помнить! Как ты? Где ты? Сколько лет, сколько зим!

Обстоятельства уголовного дела Ривкина Льва Евгеньевича предполагали суровые меры. Слишком суровые для такого простого нарушения закона. Лева не спекулировал валютой, хотя доллары, конечно, у него водились. Он в меру сил и возможностей нес советским гражданам тлетворное западное искусство в виде записей «Битлз», «Роллинг стоунз» и прочих разлагающихся и вызывающе одетых молодых людей. Обычно на таких делах не попадались, власти на них смотрели сквозь пальцы, но уж если попадешься, тогда держись! Музыкальные вкусы Семена Семеновича Моисеева были далеки от бурных увлечений молодежи шестидесятых годов, но ему было жаль, что совсем юному человеку, не вору и не убийце, к тому же сыну героя-фронтовика, ломают жизнь ни за что ни про что. Моисеев, рискуя репутацией в глазах бдительного партийного начальства, которого страшно боялся, приложил все усилия, чтобы эпизод спекуляции расценили как малозначительный, и буквально спас подследственного от обвинения в идеологической диверсии. Что стало с Левою после, не интересовался. А он, оказывается, вот как расцвел!

– Да, вот именно столько лет и столько зим, Семен Семенович! – басил Лева, неловко обнимая бывшего следователя через букет. Розы, пропоров шипами целлофан, отчаянно кололись.

– Ты что, уехал на Запад?

– Точно так, – согласился Лева, про себя усмехаясь советской наивности, до сих пор обозначающей весь спектр неодинаковых, конкурирующих, иногда грызущихся между собой стран одним безликим словом-маркировкой «Запад».

– Я всегда подозревал, что ты кое-чего добьешься... Да ты проходи, проходи! Если хочешь, вот тапочки... Нет, не сюда, здесь Настина комната. Моя – дальше и направо.

– Спасибо, Семен Семенович, не надо тапочек. Настя вам кто: дочь, супруга?

– Соседка. У нас тут по-прежнему коммунальная квартира, Лева.

– Надо же, какая архаика! Я-то думал, в Москве давно не осталось коммуналок. И вы, заслуженный человек, рисковавший жизнью во имя родины...

– Брось, Лева, брось! Я старик, мне много не нужно. Я прирос корнями к этой жилплощади, здесь как-нибудь доживу. Ты лучше о себе: чем занимаешься?

– Занимаюсь я, если разобраться, все тем же, только в других масштабах. Здесь меня клеймили как спекулянта – там я уважаемый человек, продюсер, владелец галерей современного искусства...

– Значит, фигурально выражаясь, Лев прыгнул?

– Прыгнул, Семен Семенович, еще как прыгнул! Мог ли я тогда мечтать?

– Западная жизнь пошла тебе на пользу. Надо же, какой солидный стал! А был, как сейчас помню, такой худенький испуганный маменькин сынок. Мама тебе все какие-то баночки с едой таскала...

– С куриным супом! Значит, и вы не забыли?

В комнате Семена Семеновича они объединенными усилиями достали со шкафа хрустальную вазу «каменный цветок» и отправились в ванную комнату, чтобы набрать воды для роз. Пока Семен Семенович дожидался, когда вялая желтоватая струйка наполнит вазу хотя бы до половины, Лева оглядывал стены с проплешинами на месте отвалившегося кафеля, темный потолок, на котором шелушилась краска, отдельными чешуйками падая в раковину. Дать ему денег на ремонт? Не примет. Еще и рассердится. К тому же коммунальная квартира, нужно учитывать других владельцев... Но как же его отблагодарить?

– Семен Семенович, – принял наконец решение Лева, – как насчет гульнуть?

– Гульну-уть? – Небольшой горбатый нос и округлившиеся глаза делали Семена Семеновича похожим на растерянного пожилого филина.

– Ну да! Приглашаю вас в лучший ресторан Москвы. В какой хотите. Какой лично вы считаете лучшим? Назначайте время и место.

К изумлению Левы Ривкина, даже на это невинное приглашение Семен Семенович отрицательно помотал головой. Ай да следователь Моисеев! Неподкупный Марат какой-то!

– Ты уж прости, Лева, в ресторанах давно не пью. Ни водка, ни коньяк в горло не лезут...

Наслаждался видом вытянутого Левиного лица и торжествующе завершил:

– А вот по месту жительства и прописки выпиваю, и даже с удовольствием! Хочешь мне доставить радость? Сделай хорошую закупку в ближайшем пятидесятом гастрономе на Сретенке, сейчас эта лавочка именуется «Седьмой континент». Только что ж мы будем вдвоем набираться? Потерпи один день, а завтра я тебе гарантирую славную компанию. Созову на дружескую попойку Сашу, Славу, Юрку... ну, конечно, Костика... кого бы еще... ах да, Дениску, Славкиного племянника, отличный такой паренек... Заодно и познакомитесь.

3

Директор частного охранного предприятия «Глория» Денис Андреевич Грязнов, как всегда, был страшно занят. Куча дел, куча заказов. Возвращаясь поздно ночью или под утро в свою холостяцкую конуру, он падал на диван, в неубранную постель, и погружался в тяжелый сон. Сны были о работе. Впрочем, Денис не унывал и не жаловался. Фактически он должен был радоваться напряженной работе: ведь это было верным признаком того, что «Глория» процветала. Знаком того, что паренек из Барнаула, милицейский племянник Дениска Грязнов кое-чего достиг в этой суровой столичной жизни, выбился в люди честным трудом.

Сегодня он воочию увидел, что «Глория» достигла своего расцвета. Ей стали поручать дела не только особо важные персоны в дорогих пиджаках, на «мерседесах» и с «роллексами», она стала знаменита среди простых людей, которые шли в «Глорию» за защитой. Денис обрадовался: ему всегда не давали покоя лавры Шерлока Холмса.

Немолодая подтянутая женщина с седыми волосами, уложенными в высокую прическу и обвязанными черной газовой косынкой, взволнованно и напористо говорила:

– Я скопила деньги и готова заплатить, сколько скажете, но вы обязаны установить, что случилось с моим мужем. Он был профессором филологии, не имел никакого отношения к преступному миру. Уважение коллег по кафедре, любовь студентов, и вот, представьте, по дороге на дачу его убивают неизвестные хулиганы. Я знаю, это банда подростков, они в последнее время совершенно распоясались. Какая нелепая смерть! Я просто не могу оставить это так, это мой долг перед памятью Ивана Владимировича.

– Подождите! А вы уверены, что вашего мужа убили?

– Это зафиксировано в документах. Вот, пожалуйста.

Денис внимательно пролистал справки. Ситуация действительно сложилась необычная.

На первый взгляд создавалось впечатление, что Степанищев И. В., 1939 года рождения, погиб от несчастного случая. Тело было найдено под мостом возле железнодорожных путей вблизи от своей профессорской дачи в поселке Красково, что и было зафиксировано в милицеском протоколе, составленном на месте происшествия. Очевидно, покойный, который страдал болезнью сердца, почувствовал головокружение и упал с моста, что и явилось причиной смерти. Однако судебно-медицинская экспертиза не подтверждала этого успокоительного вывода. В протоколе вскрытия говорилось, что смерть наступила от перелома шейных позвонков, что по механизму не соответствовало предполагаемому способу смерти вследствие падения с высоты. По факту было открыто уголовное дело, которое в установленные сроки закрыли в связи с недостаточностью улик и неясностью состава преступления.

– Это не месть, – повторяла вдова профессора Степанищева, стискивая худые изящные пальцы с длинными ногтями, и Денис Грязнов подумал, что такие дамы остаются модницами и в шестьдесят, и в восемьдесят лет, и, не исключено, до самой смерти. – Мне нужно, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. И еще мне нужна истина.

– Не волнуйтесь, – только и смог сказать Денис Грязнов. – Будем работать. Разберемся. Пишите заявление: «Директору частного охранного предприятия (ЧОП) „Глория“ Денису Андреевичу Грязнову...»

Ведение дела профессора Степанищева Денис поручил своим испытанным сотрудникам: Агееву и Голованову. Внешне они были совсем не похожи друг на друга: Филипп Кузьмич Агеев – маленький, щуплый любитель поерничать и поострить, и Всеволод Михайлович Голованов – крупный, обстоятельный, серьезный. Со стороны они составляли забавную пару. На самом деле общего между ними было больше, чем различий. Связывали их в прошлом и отделение разведки спецназа ГРУ почившего в бозе Советского Союза, и Афган, и Чечня, и многое другое.

– Расследуйте особенности почерка, – приказал им Денис. – С виду похоже на действия обычных хулиганов, но беспокоит меня что-то этот перелом шейных позвонков.

– Ломать шею учат во многих подразделениях, – заметил Агеев. – Десант, разведка...

– Выясню, – коротко и весомо посулил Голованов.

– Вот и я говорю: вникните, выясните. Дело может оказаться непростым.

В это время со стороны письменного стола начальника «Глории» послышался треск и скрежет, словно туда приземлилось гигантское насекомое. Двое бывших спецназовцев автоматически сделали какие-то странные, упреждающие движения.

– А, чтоб тебя! – вскрикнул Денис и принялся лихорадочно ворошить следственные материалы. Под бумагами обнаружился мобильный телефон, который трясся и светил красным дисплеем. – Не пугайтесь, это я его вчера на вибровозвонк установил, – облегченно вздохнул Денис и нажал на кнопку «Yes». – Да, Грязнов слушает...

– Дениска! Это дядя Сема Моисеев тебя донимает. Как насчет выпивона с закусоном?

– Не могу, Семен Семенович, – обреченно вздохнул Денис Грязнов, косясь на часы: сегодня ему предстояло наведаться в морг и в прокуратуру. – Сегодня никак. Бегаю, как бешеный волчара...

– Дениска, таки разве дядя Сеня не знает, что ты у нас мальчик занятой? Дядя Сеня не выжил еще из последнего ума. Но, надеюсь, завтра ты выкроишь часочек, чтобы посидеть и расслабиться на моей скромной коммунальной кухне в компании старых друзей. Пирушку организует мой бывший подследственный, который объявился с честно нажитым богатством. Будут Юра Гордеев, Саша Турецкий, Костя Меркулов, опять же Слава, дядька твой... Все будут, солнце наше, тебя только не хватает.

По мере перечисления знакомых имен Денис Грязнов оживал. Повеяло теплом дружеских связей, воспоминаниями о совместных приключениях и подвигах. Да что он, в самом деле, похоронить решил себя в «Глории»? Сон – работа, работа – сон, ни с кем не видится, теряет старых друзей... А, гори все синим пламенем, может он выкроить хоть один вечер?

– Ждите, дядя Сеня. Буду. Говорите, во сколько приезжать.

Все-таки Денис, как ни старался прийти вовремя, опоздал. Возможно, это и к лучшему: приехал он в самый разгар дружеской попойки, когда все уже познакомились слевой Ривкиным и слегка выпили, ровно столько, чтобы свободнее полились речи и градус общего настроения поднялся до нужной температуры. Незнакомый большинству до сего дня «мистер Твистер» Лео Ривкин под влиянием совместного распития отменных горячительных напитков стал в компании совсем своим: его хлопали по спине, ему исправно наполняли рюмку, с ним спорили о том, что являлось его прямой специальностью. Скромно примостившись за столом, Денис прислушался к беседе.

– Я, конечно, серый ментяра, – полушутя, полусерьезно напирал на гостя Слава Грязнов, – я, может, чего-то не понимаю, но считаю так: не пройдет у нас это авангардное искусство! Русскому человеку чего надо? Чтобы все было красиво нарисовано. Вот Кустодиев с его пышными бабами. Я смотрю и вижу: баба! Можно затащить такую бабу в койку? Охотно. А куда, скажите на милость, годятся худосочные девицы этого вашего гения, Модильяни? Личико треугольное, перекошенное, один глаз на щеке, другой на лбу... Ее, беднягу, не в койку, ее в больницу надо! Ты, Лева, конечно, скажешь, это у меня от недостатка образования...

– Нет, Слава, – Лева, опрокинув очередную рюмочку коньяку, ловко подцеплял на вилку толстенький ломтик семги. – Отнюдь. Это не недостаток образования. Это избыток бедности.

– Не понял, друг. П-поясни.

– Или, если хочешь, неудовлетворенность элементарных потребностей. Думаешь, сложно? Все очень просто. Когда человек голоден, чего он хочет? Нажраться от пуза. Когда человека мучает сексуальный голод, чего он хочет? Пышную бабу и в койку. А вот когда чело-

век сыт, обут, одет, сексуально удовлетворен и мухи его не кусают, он с удивлением обнаруживает, что, оказывается, он состоит не только из этих простейших желаний. Он все еще чего-то хочет, но сам не поймет чего. И тогда ему на помощь приходит искусство. Учтите, современное искусство, которое по-настоящему отражает ритм и психологию нашего века. Но для понимания искусства необходим тонкий вкус. А чтобы развивать тонкий вкус, необходимы время и деньги. Поэтому возможность наслаждаться современным искусством – это, если хотите, друзья, экономический критерий. Если в обществе сформировался слой потребителей современного искусства – это показатель определенного уровня достатка. Если Россия не сойдет со своего нынешнего пути, будет и она его потреблять, никуда не денется.

Волосы на голове Вячеслава Ивановича Грязнова в массе своей сменили рыжий цвет на седой, но лицо по-прежнему легко вспыхивало кирпичным румянцем, как у всех рыжеволосых. А покраснел он от алкоголя или от смущения – это неведомо.

– Любопытно, – подал голос молчавший до сих пор Турецкий. – Значит, гении авангарда могут рождаться только в богатых странах?

– Рождение гения, Саша, звездная случайность, – примирительно отозвался Лева. – А вот найдет ли себе гений применение – зависит от экономических условий. Ты можешь представить себе гениального физика или шахматиста, который родился в каменном веке? Пропадет, бесполезно растратит себя! Социальная неустроенность губит великих. Да, вот, кстати, пример: ваш – то есть наш – соотечественник Бруно Шерман...

– Шерман... Что-то знакомое, – Турецкий попытался добыть из недр памяти сведения, которыми регулярно его пичкала причастная миру искусств Ирина Генриховна.

– Художник. Один из отцов авангардной живописи. Участник объединения «Бубновый валет».

– Ага, ага, как же... – «Бубновый валет» вызывал в сознании Турецкого стойкие ассоциации с началом двадцатого века, революционными веяниями и тому подобным. Почему-то вспоминалась еще и татлинская башня, но Турецкий не нашел ей логического места.

Лева ни с того ни с сего тряхнул головой, будто просыпаясь, и воззрился на окружающих его людей так, словно только сейчас как следует их разглядел.

– Послушайте, друзья, у меня появилась одна блестящая идея... Вы ведь все тут, если не ошибаюсь, сыскари?

Присутствующие согласились с этим гордым определением.

– Как вы отнесетесь к тому, чтобы сейчас сюда явилась одна дама?

– Прекрасная? – уточнил Юра Гордеев.

– Во всех отношениях!

– Тогда разрешаем! Зови!

И через полминуты Лева уже развязно кричал в трубку (коньяк все-таки давал о себе знать):

– Ванда! Вандочка! Ты где? Бросай свою Красную площадь, лети сюда. Тут полно симпатичных мужчин: по возрасту разные, зато по духу все, как один, молодые! Не сердись, Ванда! Только не отключай телефон! Они нам могут помочь с Шерманом. Ну вот, успокоилась, другое дело. Как же с вами, прекрасным полом, нелегко! Слушай, как доехать: метро «Лубянская», площадь Воровского... В общем, рядом со зданием бывшего КГБ...

– Не пугайтесь, пани, – попытался внести свою лепту наклонившийся к трубке через весь стол Вячеслав Иванович Грязнов, – времена сейчас не кроважальные, и это учреждение называется ФСБ.

– Слава, не мешай! Ванда, записывай адрес...

В ожидании дамы мужчины налегли на выпивку, словно стремясь наверстать неизвестно когда упущенное. Посыпались соленые шуточки, которых не выдашь в женском обществе.

Хорошо, что Костя Меркулов по служебным обстоятельствам не пришел! По степени деликатности он сам, как дама, при нем не пошutiшь.

– Тук-тук! Ой, Семен Семенович, у вас гости... Можно, я из холодильника плавленный сыр возьму?

Всем померещилось, что Ванда прибыла раньше, чем рассчитывали. Только как же она проникла в квартиру через запертую дверь, без звонка? Но эта обворожительная особа, как отметил Лева, была намного моложе и свежее Ванды: Ванда выше ростом, с белокурыми волосами, уложенными в небрежную на вид, но дорогую прическу, с уверенным взглядом женщины, знающей себе цену и умеющей, если возникнет необходимость, дать отпор. Эта же была хрупкой брюнеточкой с глазами олененка, доверчивыми и испуганными одновременно. И надето на ней было что-то бежевое, с длинными махрами, зверушечье.

– Настенька! – обрадовался Семен Семенович. – Что же ты на пороге встала? Прошу к столу. На что тебе сдался плавленный сыр, когда у нас тут столько вкуснятины? Вот, позвольте представить, моя соседка Анастасия. Серьезная девушка, модельер. Из Барнаула. Обрати внимание, Денис, землячка твоя.

Не обратить внимания на Настю мог только слепой или импотент. Взгляды всех присутствующих мужчин обратились на ее покрытый свисающими полосами бежевой ткани лифчик... или искромсанную блузку... в общем, на что-то супермодное и откровенное. С таким неприступным видом, словно на ней был надет строгий деловой костюм, Настя села рядом с Денисом Грязновым. Денис почувствовал, как загораются его щеки, и рассердился на себя за эту унижительную для мужчины реакцию.

– Давно вы из Барнаула? – спросил он грубоватым голосом и прочистил горло.

– Полтора года, – ответила Настя, устремляя оленьи глаза на тарелку перед собой, которую ей тотчас же нагрузили ломтиками белой и красной рыбы и сырокопченой колбасы. Денис смотрел, как она аккуратно ест, чувствовал, как ее острый локоток случайно прикасается к его локтю, и чувствовал себя не грозным и неустрашимым начальником «Глории», а гиперсексуальным подростком. К счастью для его мужественной репутации, Настя вскоре ушла, сославшись на необходимость раннего подъема завтра.

– Отменная девочка! – причмокнул Слава, когда за Настей закрылась дверь кухни, и со значением подмигнул племяннику.

– Полегче, вы, бесстыдники! – приструнил мужское сообщество Семен Семенович. – Она мне как внучка. Если хотите знать, она...

Погребальный звонок оповестил собравшихся, что Ванда все-таки явилась, и подробности биографии Насти из Барнаула остались невыясненными.

Ванда, заполнив душную от винных паров и дыхания работников правосудия кухню запахом дорогих духов, сразу приступила к делу и с помощью Левы Ривкина обрисовала ситуацию, сложившуюся вокруг Бруно Шермана и его картин, прибавив только одну существенную деталь. По условиям функционирования комитета и фонда имени Бруно Шермана, того, кто в конце концов выяснит истинную судьбу художника, а также отыщет его последние произведения, ждет достойный денежный приз. Ни много ни мало – пятьсот тысяч долларов от щедрот заместителя госсекретаря США по обороне! Тем же, кто возьмется за эту титаническую работу и проведет полноценное следствие, определен гонорар в пятьдесят тысяч долларов. Не слабо, а?

– Ну как? – спросила пани Ванда. – По рукам?

Судя по восторженному голосу Левы, позвавшего ее на эту коммунальную кухню, она ожидала бурной положительной реакции. Реакция последовала вялая и не совсем та, на которую она рассчитывала.

– Надо подумать, – словно оправдываясь, промолвил Денис Грязнов. – Мы вообще-то охранный агентствo, и сейчас у нас такая запарка...

Юрий Петрович Гордеев скучным голосом оповестил, что пятьдесят тысяч долларов, кто же спорит, очень хорошие деньги, но он адвокат и такими делами не занимается.

На щеках Турецкого заходили желваки, взгляд стал сосредоточенным и острым.

– Значит, так, пани Ванда, – сказал он. – Первое: вы переводите на счет агентства «Глория» двадцать пять тысяч долларов. Думаю, хватит на первое время на текущие расходы. Второе: материалы по Бруно Шерману. Все, что уже накопили.

– Замечательно, – улыбнулась Ванда Завадская. – Вот это говорит деловой человек. Деньги завтра же переведу. Думаю, вы не посрамите славы русского сыска.

– Саша, – вмешался Слава, который во время короткой, но проникновенной речи Турецкого безуспешно дергал друга за рукав, – давай-ка выйдем и побеседуем.

Участники застолья многозначительно посмотрели им вслед.

– Ты что себе думаешь? – накинулся Грязнов на Турецкого в прихожей. – А твое здоровье? А отпуск?

– Вот именно, Слава, отпуск! Целых тридцать дней в нашем распоряжении! Поди плохо – заработать за месяц пятьдесят тысяч долларов? А может, и пятьсот, как знать?

– А твои сны?

– От безделья кошмарные сны меня совсем замучают. Расследование предполагается тихое, связанное с делами давно прошедших дней. Никаких трупов в плане не стоит. Как раз за ним и отдохну.

Вячеслав Иванович напомнил старому другу о деле, связанном с произведениями искусства, в котором как раз трупов оказалось предостаточно.¹ «Варяг» в клетчатой рубашке высказал неоспоримую истину: большое искусство связано с большими деньгами. А деньги крутятся вокруг этого Шермана колоссальные, судя по суммам, которые готов платить его фонд.

Но Турецкий, как всегда, был упрям и настойчив.

В конце концов Слава сдался.

– Но учти, – пригрозил он, – все равно заставлю тебя пить прописанные лекарства. Каждый день, так и знай!

– Заметано!

Друзья возвратились на кухню, где их решения напряженно ждали Лев Ривкин и Ванда Завадская, и тогда уже окончательно ударили по рукам.

¹ См. роман Ф. Незнанского «Опасное хобби» (М.: Олимп, 2002).

4

Как завершение облачного дня, выдался погожий, но не жаркий летний вечер. Дочка Турецких Нинка где-то пропадала в компании друзей, но ее родителей это обстоятельство ничуть не огорчало. Даже наоборот. Давно они не чувствовали себя так раскованно. Саша, приняв дозу левитры, прописанную кудесником Светиковым, показал себя на высоте. Сперва они забрались в ванну, где от прохладной воды прикосновения становились только жарче. Постепенно Ирина принялась стонать от каждого прикосновения, не только между ног, но и к груди, и к шее, и даже к спине, она превратилась в сплошную эрогенную зону.

– Ой, Саша, Сашенька... а-а-а.... Ой, больше не могу!

Вся мокрая, рассыпая брызги воды на паркет, Ирина выпрыгнула из ванны и побежала в спальню, а вслед за ней, пьянея от ее наготы, неся Турецкий. Он сейчас не был Турецким, он был забывшим обо всех проблемах жаждущим самцом. Ирина упала на широкую супружескую кровать, но не успела забраться на нее с ногами. Саша придержал ее за поясницу:

– Стой! Так и оставайся! Вот так... хорошо-о-о...

После они долго обнимались на мокром смятом покрывале, не желая терять и секунды долгожданной близости.

– Подвинься, – ткнула Сашу в бок Ирина. – Покрывало надо в стирку бросить.

Постепенно все возвращалось на круги своя, и любовница в ней уступала место жене.

– М-м-м, – не открывая глаз, отозвался Турецкий. – погоди со стиркой. Не убежит.

Ирина улыбнулась:

– Вот видишь, Саша, я не зря старалась, врача искала. Помог ведь тебе Светиков?

– Что? А, ну да, помог. Только, Ира, лекарства – это половина лечения. Главное мое лекарство – отдых. Так и Светиков сказал.

– Так тебе же дали отпуск! Давай в этом году махнем все втроем в Прибалтику. Или, если хочешь, в Турцию: сервис и питание там дешевле, чем в Крыму.

– Нет, Ира, южный климат мне противопоказан. А от Рижского взморья тоска берет. Мы со Славой Грязновым договорились отдохнуть у знакомых во Львове. Ровный климат, прекрасный готический город, поблизости Карпаты. Свежий воздух, экскурсии... – понес Турецкий, зная, что за столько лет совместной жизни жена превосходно научилась слышать то, что он недоговаривает.

Ирина снова улыбнулась – на этот раз в уголке губ образовались горькие складки:

– Очередное расследование, да?

– Не волнуйся, Ира. Я туда еду не как следователь, а как частное лицо. Собрать досье на одного польского эмигранта, давно покойного. Неожиданностей не предвидится.

– Тем лучше. Частное лицо имеет право взять с собой жену.

– А куда мы денем Нинку? Она без надзора еще, чего доброго, забеременеет или пристрастится к наркотикам. – Привычная ирония в адрес Ирины, которая стремилась оберегать дочь, рослую самостоятельную девицу, буквально от всего. – Езжай уж лучше с ней к прибалтийской тетке, как вы обе привыкли. Не лишай себя маленьких радостей.

Ирина отвернулась. Турецкий имел право торжествовать победу, взять реванш за все те летние вечера, когда он приходил из прокуратуры или с задания усталый и голодный, как собака, а любимая жена прохлаждалась где-то в Дубултах, посиживая в кафе под декоративными корабельными снастями или выбирая в сувенирной лавчонке янтарь.

За столько лет семейной жизни Турецкий тоже научился видеть жену насквозь и мог читать ее мысли, словно открытую книгу.

«Неожиданностей не предвидится! Как будто неожиданности не подстерегают тебя повсюду, Турецкий! Ты уже не мальчик, ты окреп, заматерел, у тебя появились морщины, но

это делает тебя еще более привлекательным. И они вешаются тебе на шею, твои неожиданности: голубоглазые и черноглазые, брюнетки и блондинки, шатенки и рыжие, крашенные и натуральные. Какую из этих неожиданностей ты будешь наяривать под сводами прекрасного готического города или на фоне ландшафта живописных Карпат? А потом вернешься, как ни в чем не бывало, в чистую семейную постель, все такой же бодрый и неустойчивый? Может, и эта депрессия, эти кошмарные сны – предлог сбежать от законной супружницы, которая давно надоела?»

Трудно вести мысленный диалог. Но Турецкий готов был ответить вслух, если бы Ирина решила говорить начистоту, что он не ждал и не искал этого расследования, оно свалилось на него само, а теперь некрасиво, да и не хочется, отказываться. Что его депрессия, несмотря на сегодняшний любовный взлет, никакое не притворство. И что, в конце концов, в последнее время его совершенно не тянет изменять жене. Вероятно, видения преисподней, которые преследуют его во сне, напоминают о том, что все мы не вечны и что погоне за удовольствиями, за разнообразием красивых женских тел когда-нибудь придет конец. Хорошо бы не слишком скоро.

А может, эти мрачные мысли порождены депрессией? Выздоровеет он, попринимает лекарства, заработает пятьдесят тысяч «зеленых», и все восстановится...

Да, Сашку Турецкого не так-то просто столкнуть с избранного пути!

– Подвинешься ты или нет? – прикрикнула на мужа Ирина Генриховна, выдергивая из-под него злополучное покрывало.

Помимо предоставленных Вандой материалов Турецкий решил запастись собственными сведениями о художнике Бруно Шермане и с этой целью обратился к знатоку изобразительного искусства Лене Кругликову. Начальник 3-го отделения 2-го отдела МУРа майор Кругликов принял следователя по особо важным делам радушно: не в первый раз встречаются!

– Что, Сан Борисыч, опять кого-нибудь ограбили?

– Нет, Леня. На этот раз я сам скорее всего кого-нибудь ограблю.

– Наконец-то решил прибыльным делом заняться, – засмеялся Кругликов, а в глазах его появилось беспокойство: всякое случается с людьми в наше нестабильное время.

Турецкий подумал, а уж не докатились ли до МУРа слухи о его депрессии? «А Турецкий-то, Турецкий, слышали? Что? Да крыша поехала. Нет, правда, на людей бросается. Суший псих».

– Не бойся, Леня. Ни в домушники, ни в управдомы пока не собираюсь переквалифицироваться. А только не мешало бы разведать, сколько в наше время могут стоить картины Бруно Шермана?

Имя Шермана удивления у Лени не вызвало. Он понимающе кивнул, но любопытства Турецкого удовлетворить не сумел.

– Знаешь, Саша, я ведь все больше по искусству великих классических мастеров. Двадцатый век, авангард, Шерман, Шагал – не совсем моя епархия. Если хочешь, подкину телефончик человека, к которому можешь обратиться.

Неустойчивый эрудит и собиратель разнообразных сведений, Леня Кругликов держал в верхнем ящике своего письменного стола с десятков записных книжек, заполненных по системе, которую разработал сам. Прочие в них ничего не понимали. Вот и телефон Николая Алексеевича Будникова сверхъестественным образом обнаружился не на букву «Б», что было бы закономерно, и даже не на букву «Н», а вопреки логике, на букву «А».

– «А» значит «авангард», ну, русская авангардная живопись, – пояснил Леня.

– А-а-а, – понимающе протянул Турецкий, пока Кругликов переписывал для него телефон.

– Держи. Вот рабочий, вот домашний. Дома бывает обычно после шести часов вечера.

– А мобильный?

– Мобильного у Коли нет. Эх, зажрались мы, привыкли, что вокруг одни бизнесмены да коммерсанты... А тут отличный специалист, вместо того чтобы делать деньги, остается предан своей работе. Бессребреник. – Турецкий обратил внимание, что Леня произнес это слово безукоризненно правильно, без вклинившегося в последнее время между «с» и «р» лишнего «е». – Ты, кстати, можешь подъехать прямо к нему в Музей русского авангарда.

– Погоди. Это тот самый музей, где сейчас выставляется картина Шермана «Дерево в солнечном свете»?

– Точно. Какие мы, оказывается, образованные!

– Отстань, совсем я не образованный. Это важно для исследования.

– Если для исследования, тем более без Николая не обойтись. Скажи, что от меня, он расстареется.

Музей – место, куда Александр Борисович заходил так часто, как это полагается культурному человеку. По собственной инициативе – практически никогда. Самым изученным для Турецкого был музей им. А. С. Пушкина на Волхонке, куда он в основном водил жену и дочь: Нину – когда по школьной программе проходили античность, а потом Средневековье; Ирину – на всякие заумные выставки, вроде творений Магритта или графики Сальвадора Дали. А сейчас, выходит, черти его тянут, и не куда-нибудь – в Музей русского авангарда... Каков в данном случае побудительный мотив: искусство или деньги? На первом месте, разумеется, работа, за которую платят хорошие деньги. Но для такой работы, на которую подрачился он, может быть, важно научиться распознавать манеру художника, проникнуть в его мир. Не исключено, что неведомый Николай Будников подбросит ему кое-какие идеи, которые потом сложатся в версию.

Основанный в 1997 году банкиром-меценатом Юханом Чикиным Музей русского авангарда, который Турецкий сравнительно быстро отыскал в переплетении московских переулков между станциями «Библиотека имени Ленина» и «Охотный ряд», представлял собой двухэтажное, крашенное в кирпичный цвет здание, фасад которого был то ли изуродован, то ли усовершенствован выступающим вперед вестибюлем в виде прозрачного шестигранника. Сквозь него буйство красок, встречающее посетителя буквально с порога, размывалось, создавая ощущение волшебного фонаря для взрослых. И впрямь современно. И лишь одно уцелело от старины, родня Музей русского авангарда со всеми прочими музеями: вахтерши, служительницы, смотрительницы – женщины в мягких тапочках, не имеющие возраста, корректные и склонные к ворчливости. Наряду с охранниками в камуфляже они несли свою вахту и были совершенно незаменимы.

Ни покупать билет, ни трясти красными корочками в музее Турецкий не стал. Как частное, но осведомленное лицо, скромно подошел к служительнице музейных муз, дремавшей на контроле в ожидании посетителей, и спросил, где бы ему срочно найти доктора искусствоведения Николая Алексеевича Будникова. Недовольная тем, что ее вывели из состояния дремы, билетерша при упоминании Будникова сменила гнев на милость и, оставив вместо себя коллегу, такую же седую и толстенькую, выразила желание лично проводить гостя. Следом за ней, неслышно скользившей по парадному паркету в старых тапочках, устремился Турецкий. Они миновали галерею современной скульптуры, скрученными и развороченными торсами напоминающей то ли жертв автокатастрофы, то ли мутантов-экспозиционистов; прошли мимо экземпляров живописи, сливавшейся в один пестрый ряд; свернули направо, поднялись по боковой, заурядной, выстланной потертым ковриком лестнице и очутились в святой святых музея. Скрытые от глаз посетителей служебные помещения содержали не больше ценных экспонатов, чем обычный офис; но тот, кто сказал бы, что ничего примечательного здесь нет, крепко ошибся бы. Судьбы экспозиции зависели от того, что вершилось в этих тесных, заваленных бумагами комнатках.

– Николай Алексеич, это к вам! – Турецкого поразили почтительный тон билетерши. То ли Будников действительно был очень важной персоной, то ли в этой старушке было до такой степени развито чинопочитание.

– Здравствуй, Николай Алексеевич. Я Александр Борисович Турецкий, меня к вам направил Лёня... Леонид Кругликов.

– Да. Очень приятно. – Легкий кивок, указывающий, что тему майора Кругликова можно дальше не развивать. – Зовите меня просто Николай.

– Тогда я для вас просто Саша.

Николай Алексеевич Будников, на удивление, оказался человеком очень молодым для его расхваленной Кругликовым опытности: лет тридцати или чуть старше. Возможно, знаток живописи уловил бы в нем сходство с героями русских портретов начала XX века, но у Турецкого возникла более приземленная ассоциация: Николай Алексеевич очень походил на человека, который на плакате, посвященном единству всех слоев советского общества, символизировал прослойку интеллигенции. Открытый лоб, русые волосы гладко зачесаны назад, тонкий профиль уверенно устремлен в светлое будущее – наверное, в будущее русского искусства. Здороваясь, Будников твердо пожал руку Турецкого, смерил его с головы до ног пронизательным взглядом из-за очков в почти невидимой оправе. Профессиональная хватка! Турецкий подумал, что каждый человек представляется Николаю Будникову произведением искусства, которому он назначает цену. Дешевкой «важняк» Турецкий никогда себя не считал. Видимо, к такому же выводу пришел и Будников, потому что его лицо прояснилось, стало открытым и простым.

– Леонид Сергеевич попусту не направит. Дело у вас, полагаю, серьезное? Опасное, да?

– Опасностей нет, но дело заковыристое. Меня интересует художник Шерман. Бруно Шерман.

Николай поморщился, будто Турецкий, произнеся «да Винчи», бестактно уточнил: «Леонардо».

– Вас интересует список его работ? Полотна, представленные на выставке? Работы, имеющиеся в собрании музея? Предполагаемая стоимость?

– Все, что вы перечислили, в первую очередь стоимость. И картину «Дерево в солнечном свете» стоило бы посмотреть. – Турецкий замялся: – Ну и еще... я не знаю, от искусства далек... теория, что ли! Расскажите что-нибудь о Шермане, об объединении «Бубновый валет»...

– С удовольствием! Между прочим, название «Бубновый валет» вам как сыщику должно быть особенно близко.

– Это почему же?

– Потому, что участники состоявшейся в тысяча девятьсот десятом году выставки, которая впоследствии дала название группе, взяли название, рассчитанное на низменные ассоциации. «Бубновый валет» на воровском жаргоне той эпохи означало «ловкач», «мошенник», «не заслуживающий доверия человек». Кроме того, «бубновый туз» – это нашивка на одежде каторжника.

– Что же у них было общего с каторжниками?

– Ровным счетом ничего. И с уголовниками тоже. Выбирая такое название, они хотели потрясти, шокировать публику, как молодые художники во все времена. Скандал – питательная почва для популярности. Ларионов и Гончарова, чьи произведения составляли ядро экспозиции, отлично это понимали. Хотя... и с другим названием выставка произвела бы эффект. Выразительные средства были новы и необычны для России, привычной к дотошному реализму передвижников.

– А Шерман?

– Шерман был менее знаменит по сравнению с теми, кого я перечислил, однако он по праву принадлежал к названному объединению художников. Центральное место в его творчестве занимают их излюбленные жанры: пейзаж и натюрморт. Работа с цветом и пространством указывает на то, что поначалу он испытывал влияние Аристарха Васильевича Лентулова. Что же касается содержания – это вам лучше увидеть самому. Пойдемте, пойдемте!

И Турецкий снова тронулся в путь по той же лестнице, правда в противоположном направлении и с другим провожатым.

– Существует определенная последовательность развития таланта. Ранний Шерман в живописи, – хорошо поставленным голосом экскурсовода вещал Николай, – все равно что Кафка в литературе. Прежде всего, их роднит происхождение: на обоих оказала влияние культура евреев Восточной Европы. В творчестве обоих преобладают темы абсурдности человеческого существования, тяжести жизненного пути. Я считаю, что при всем стилистическом единстве с русским авангардом Шерман несколько отличался от него по духу. Русский авангард – явление в целом созидательное, желающее построить новый мир. У членов группы «Бубновый валет» преобладает пафос созидания, недаром их влекли архитектурные эксперименты. Взять хотя бы знаменитую башню Татлина...

«Ага, значит, правильно вспомнил», – порадовался своей эрудиции Турецкий.

– Бруно Шерман, – продолжал Будников, – был яростным коммунистом, но подоплека его воззрений другая. Он не желает ничего строить. Он бунтует против старого мира главным образом потому, что этот мир ужасен, что жить в нем невыносимо. Не созидание, а разрушение – вот чего жаждет его душа. По крайней мере, это справедливо для раннего периода его творчества, когда он входил в группу «Бубновый валет». Заснеженные или грязные кривые переулки, покосившиеся заборы, торчащие из земли неожиданные металлические конструкции напоминают места, где происходят скитания Йозефа К. из романа Кафки «Замок». Шерман впервые в мировом искусстве полюбил изображать бесконечные километры обнаженных канализационных труб, чем предвосхитил новации Гиггера... Имя Гиггера, надеюсь, вам о чем-нибудь напоминает?

Турецкий кивнул, стараясь не выдать, что имя Гиггера ему напоминает имя Гитлера, и больше ничего.

– По мере становления таланта, по мере, я бы сказал, возмужания личности художник избавляется от излишней мрачности. Сейчас вы сами все увидите. Прежде чем обратиться к жизнеутверждающему «Дереву в солнечном свете», посмотрите как следует в это небольшое полотно...

Картина висела в простенке, непритязательная, издали похожая на охваченный позолоченной рамой плевков желто-коричневой грязи; но стоило приблизиться и взглянуть в нее, как горло перехватывало и становилось трудно дышать.

Табличка справа гласила: «Варшавская окраина».

– Жизнь юного художника была полна трудностей и лишений, – вещал сбоку Будников...

Первая выставка Бруно Шермана

– Совершенно бездарно!

Посетители выставки «Бубновый валет» расхаживали среди картин. Все больше возмущались, спорили, едва не плевали на полотна. За окном подтаивал мартовский наст, весеннее солнце высвечивало деревянную церквушку на фоне голубого неба, превращая ее в народный лубок, подражаний которому много было на выставке. А посетители упорно не замечали созданного самой жизнью лубка, посетители утверждали, что такой ерундистики, намалеванной грубой кистью кое-как, на белом свете нет и быть не может.

– Посмотрите-ка, – полный господин с длинным артистическим шарфом и с тростью нацепил пенсне, чтобы дотошнее обозреть сплошь замазанный масляными красками холст, – здесь ведь ничего не разобрать. Краски какие-то грязные. И какой-то выскочка, не научившийся мыть кисти, претендует на то, чтобы создавать произведения искусства? Как фамилия? Шер... Шерман? Из немцев, наверное...

– Вы правы, – раздался голос сзади него. Полный господин обернулся. Выяснилось, что голос подал высокий молодой человек, порывистый в движениях, тонкий, будто сделанный из проволоки. – Совершенно, совершенно бездарно.

– Вы тоже так считаете? Рад найти в вас единомышленника. Что же вы думаете о...

– Совершенно бездарно, – не слушая, перебил его молодой человек, – заниматься каким-нибудь банковским промыслом, вечером есть блины с икрой в компании кокоток, а на следующий день идти в театр или на выставку и ждать, чтобы вам здесь доставили удовольствие, потешили ваши возвышенные чувства...

– Послушайте, что вы себе позволяете?

– Совершенно бездарно, – молодой человек уже кричал, размахивая кулаками, – нацеплять стеклышки на нос, вплотную пялясь на картину, которую нужно рассматривать издали! Каждую настоящую картину нужно смотреть с точки, нужной, чтобы она открылась зрителю! И каждая настоящая картина имеет такую точку! Потому что это не фотография! Не знать разницы между картиной и фотографией и тащиться на выставку, точно барану, только потому, что о ней пишут и говорят, вот что по-настоящему бездарно, милостивый государь, да, скотина в стеклышках!

– Бруно, Бруно, прекрати же ты! Остановись, Бруно!

Их насилу растащили. Полный господин растерянно тыкал перед собой тростью, но ударить соперника не решался, потому что тот был все-таки очень высок и производил впечатление сильного, несмотря на худобу. И кулачищи-то, помилуйте! Такой махнет – с ног собьет.

Бруно удерживали, кажется, успокаивали, но он никого не слушал. Опрометью пробежав сквозь залы, возле выхода впрыгнул в калоши, набросил на плечи гимназического фасона шинелишку, нахлобучил мятую шляпу и выбежал из дома своего позора в весеннюю грязь и распутицу, бормоча ругательства на трех языках. Польский и русский языки были ему родными. На идише, языке бабки и деда со стороны матери, он редко говорил, но этот язык казался ему наиболее подходящим для громовых проклятий.

Дома, за ситцевой занавеской, отгораживающей их с Варварой уголок, Бруно упал лицом в рукав. Плечи его вздрагивали.

– Эй, самовар ставить, что ля? – донеслось издалека.

– Не надо пока, Егорьевна, – изменившимся голосом ответил Бруно. При этом у него вырвался всхлип.

За чай надо платить. Вынь да положь две копейки. А трактирщик за исполненный заказ не заплатил. Уже и картину повесил, а с оплатой все тянет, осторожничает, выкобенивается. Эх, начистить бы ему физиономию! Только с деньгами тогда придется проститься. Одна надежда на Варвару. Может, к вечеру принесет добытый акушерским промыслом рубль.

Варвара – верный товарищ и соратник по жизненной борьбе. Оба они провинциалы Российской империи: Варвара из Нижнего Новгорода, Бруно из Варшавы. Она приехала в Москву, чтобы выучиться на врача, он – на художника. Художник! Бруно язвительно ухмыльнулся. Никогда его не признает публика, никогда!

Варвара – не публика, она его понимает. По крайней мере, говорит, что от его картин дрожь пробирает, а это уже признание.

– Это что ж за улица такая? – подбоченясь, спрашивает она, заглядывая ему через плечо.

– Не узнаешь? – Бруно смешивает краски на палитре. – Это же твой Николопесковский переулок, которым ты каждое утро бегаешь.

– Фу-у! Ну, друг ситный, изобразил! Дома перекособоченные, окна черные. Разве в таких домах люди живут? В таких домах только плесень заводится.

– А человек, дорогая Варя, – Бруно наносит на холст очередной мазок, – и есть не что иное, как жалкая плесень на поверхности земли. Солнце пригреет посильней – и мы растаем, словно никогда не существовали.

– Это ты Ницше начитался, – ставит диагноз непреклонная докторица Варвара. – А ты лучше прокламации почитай. Там все куда правильнее сказано и про жизнь, и про людей. Вот увидишь, хлынет народ по таким переулочкам под красным знаменем, куда как весело будет!

Варвара не зря его поддевает. Томик Ницше на немецком языке Бруно привез из Варшавы, но в последнее время обращается к излюбленному прежде чтению все реже и реже. В прокламациях Варвариных друзей, с которыми она посещает сходки, он теперь усматривает все больше силы, мощи, мужества. А ему так хочется быть мужественным и сильным, совершать решительные поступки.

Никто не знает главной тайны совместного существования Бруно и Варвары, а узнали бы – не поверили. Варвара девственна. Каждый вечер при ее переодевании на ночь Бруно целомудренно отворачивается, лишь краем глаза ловя мелькание пухлой белой плоти под бумажей-ной рубашкой, и часто полночи ворочается, кусая подушку, елозя животом по постели и до боли вгоняя ногти в ладони. Зато свои жалкие заработанные гроши он и она вносят в общий котел. Так дешевле. Экономика диктует сожительство.

Неудачливый художник регулярно получает письма, в которых дорогого сына и брата просят вернуться в Варшаву. Отец за свою адвокатскую практику получает столько, что Бруно, если он по-прежнему того желает, сможет безбедно заниматься живописью. Мать подыскала ему невесту, порядочную и красивую девушку, он ее должен помнить, Еву Ляску... Только пусть он оставит безумные идеи и возьмется за ум. Пока он в Москве, ни на какие деньги пусть не рассчитывает. Семья предлагала ему отправиться для совершенствования в живописи в Вену, Париж или, по крайней мере, в столицу – Санкт-Петербург, а он вместо этого предпочел в Москве безумствовать за компанию с какими-то никому не известными мазилами.

Подумать только, когда-то он с восхищением смотрел на своих родителей! Согласно семейному преданию, их необычная для Польши фамилия «Шерман» происходит от французского «шарман» – «восхитительно, прелестно». В это можно поверить: все Шерманы питали склонность к искусствам. Отец, до того как превратился в преуспевающего адвоката, писал стихи; дядя украсил дом собственноручно вырезанными из дерева скульптурами. Мать не уступала способностями семейству, в которое вошла: прекрасно играла на рояле и всем пятерым детям привила безупречный вкус к музыке. Но сейчас Бруно это безразлично. Он отверг это домашнее увлечение искусствами. Истинное искусство обязано не украшать, а ранить, он в этом убежден. А родители? Обычные обыватели, мещане. Они давно все решили за сына: главное, чтобы он был устроен и обеспечен, выгодно женился. Живопись – на заднем плане, прежде всего – домашний уют.

Отсидевшись за ситцевой занавеской, под которую то и дело заползают, шевеля усами, громадные прусаки, в печном чаду, в мокрой шинели, которую негде как следует просушить, Бруно убеждает себя, что уют – это не главное. Такие, как он, в уюте гибнут. Что поделать, если его зрение устроено иначе, чем у других? Там, где все люди видят дома, дороги, заборы, столбы, – для него изгибаются, сдвигаются с места, сталкиваются в разных плоскостях смутные массы, полные цвета и мощи. Сам Ларионов одобрительно цокает языком...

– Ах, глазки у тебя красивые! – иногда отпускает Варвара комплимент, невинно ласкаясь. То есть это ей кажется, что невинно, а у Бруно так все и замирает внутри.

А чего красивого в его глазах? Слишком выпуклые, очень светлые – черные зрачки, повисшие в прозрачности. Глаза, предназначенные не для обольщения, а для того, чтобы зреть насквозь. Только никому это не нужно. Человек хочет видеть мир очаровательным, приятным,

а не таким, каков он есть. Никто не хочет потреблять горькую правду. Тот полный господин в пенсне был прав. Он дурак, но он прав.

Отказаться от живописи? Это будет поражением. Отказаться от жизни? Вот это легче.

Бруно мокрыми от слез глазами обводит свой тесный уголок: есть ли здесь предметы, позволяющие покончить с собой? Нож? Он так затупился, что даже хлеб режет с трудом. Веревка? Только та, что придерживает ситцевый полог, и, кроме того, ее не на что прицепить. Яд? Яд ему не по средствам. Топиться в Москве-реке? Сразу накинется целый десяток добровольных спасателей. Что за поганая жизнь! Даже расстаться с ней не удастся!

В двери постучали. Бруно за ситцевой занавеской, его это не касается. Егорьевна разговаривает с кем-то через накинутый крючок.

– К Шерману, что ля? Проходитя, проходитя... Тута ен, тута.

Занавеска отдергивается в сторону под мощной рукой. Ну надо же! Его лавочник! Наверное, пришел сообщить, что написанная Бруно Шерманом картина распугала всех покупателей, и потребовать возмещения расходов?

– Господин художник, я вам тут давеча не заплатил. Торговлишка худо катилась. А сегодня вот... держите, значит...

Все еще ошеломленный Бруно сжимает деньги в руке, когда ситцевая занавеска отлетает прочь и в дом слегка перепуганной Егорьевны вваливается ватага его друзей и собратьев по выставке.

– Что, выставку закрыли?

– Отлично! Отлично все получилось! Что ж ты так рано ушел?

– Пойми, Бруно, – ласково уговаривает его Наташа Гончарова, присев на край убогой постели с постыдным стеганым одеялом, – все новое поначалу отторгается. Полотна Сезанна не принимали на выставку, Гогена считали мазилкой, картины пуантилистов до сих пор не все способны видеть... Подожди немного, придет и наше время!

– Эх ты накинуся на того миллионщика, – добродушно ухмыляется Роберт Фальк. – Брось, не связывайся!

Бруно оказывается способен изобразить благодарную улыбку. Недавняя вспышка с мыслями о самоубийстве представляется ему чем-то постыдным, детским. Нет, пора повзрослеть! Стать таким же грубым, неуязвимым и мужественным, как Варварины друзья, с которыми она выступает под красным флагом. И он дает себе слово двигаться в этом направлении, чего бы это ни стоило.

Спустя еще шесть лет, приобретя известность в кругах художников и критиков, но не выдержав постоянного безденежья, Бруно Шерман уехал в Варшаву. Чуть-чуть не дождавшись революции, которая столь многое изменила для тех, кто остался...

5

Деньги – великая сила! И великий стимул. По крайней мере, на Дениса Грязнова они оказывали именно такое воздействие. Клиент заплатил – значит, хоть наизнанку вывернись, а будь любезен предоставить результат. В тот же день, когда после заключения соглашения с директором Фонда имени Бруно Шермана Завадской, с одной стороны, и директором ЧОП «Глория» Грязновым – с другой на счет «Глории» поступила кругленькая сумма в двадцать пять тысяч долларов, Денис собрал сотрудников и поставил их в известность, над чем в ближайшее время им предстоит работать.

А вот их начальник, честное слово, сам бы заплатил тому, кто подсказал бы, как с этим делом работать и что вообще от него требуется. Делами, связанными с розыском пропавших картин покойного художника, «Глория» пока не занималась. Вот если бы эти картины украли из музея или, того лучше, у частного лица, – тогда бы Денис не ударил в грязь лицом: с привлечением лучших экспертов-криминалистов обследовал бы улики, определил бы круг подозреваемых и по свежим следам схватил бы голубчиков. А здесь все ясно, как в тумане. Где улики? Кто подозреваемый? Кого искать, кого хватать?

– Не бойсь, Дениска, – оптимистично приговаривал накануне дядя Слава, топчась в одних трусах возле чемодана, куда интенсивно забрасывал вещи, необходимые для поездки во Львов. – Справишься. Искусство там или не искусство, оперативные навыки преодолевают все... Тьфу ты, елки зеленые, куда мыльница подевалась?

– Дядя Слава, что же ты свою голубую рубашку в чемодан укладываешь? А в чем поедешь?

– Тьфу ты! – Напрасно помяв рубашку, генерал Грязнов окончательно впал в мрачное расположение духа и объяснять больше ничего не захотел.

Денис с тоской подумал, что еще нескоро, очень нескоро у него выдастся свободный вечерок, когда он сможет навестить старика, живущего в квартире на Сретенке, возле здания ФСБ и «Седьмого континента». То, что квартира находилась на Сретенке, представлялось ему неважным; даже то, что Семен Семенович будет рад его видеть, Денис, к стыду своему, игнорировал. Главное, что квартира коммунальная. И в ней, буквально через стенку от старого, доброго, хотя и чуть-чуть занудливого Семена Семеновича, проживает гораздо более привлекательное существо. И – какое совпадение! – она тоже из Барнаула. С одной стороны, приятно, с другой – досадно. Родись Настя в Москве, все было бы легко: москвички еще в детстве золотом осваивают ни к чему не обязывающий стиль отношений. А как поступать с землячкой?

Ну да ладно. Нежности побоку. Начинается расследование.

Самым простым и естественным ходом было допросить владельца оригинального живописного полотна «Дерево в солнечном свете», каким образом оно к нему попало. Нет, не допросить, а расспросить: он ведь ни в чем не виноват, кроме того, что навел такого шороху среди специалистов. Впрочем, и это представлялось затруднительным: Семен Талалихин пребывал у себя в Монако. А когда удалось связаться с ним по телефону, господин Талалихин, очевидно приняв директора «Глории» за журналиста, начал читать ему лекцию о смысле и назначении современного коллекционирования:

– Зарабатывать деньги скучно, когда некуда их вкладывать. Каждый порядочный бизнесмен обязан иметь увлечение. Прошло время шляться по кабакам и покупать золотые цепи, необходимо хобби, которое приносило бы пользу не только самому бизнесмену. Я решил, что собирание произведений живописи – надежное и полезное вложение капитала. К тому же оно сродни благотворительности. Рассчитываю, что этот Шерман станет не последним кирпичиком в здании русской... русского... Да? Что?

Уловив суть запроса, Талалихин снизил торжественность тона. Он приобрел картину у русского бизнесмена Кирилла Шестакова. Сертификат, если нужно, вышлет по факсу.

Так Денис впервые увидел сертификат – паспорт картины с фотографией и подписью эксперта на обороте. Фамилия эксперта показалась Денису знакомой. Турецкий упоминал ее перед тем, как отбыть во Львов.

Кирилл Валентинович Шестаков оказался средней руки бизнесменом, торгующим околокомпьютерным оборудованием: мебель для компьютеров, подставки под CD, коврики для мыши и прочее необходимое оснащение, от мелкого до крупного. Судя по офису, в котором он принял Дениса Грязнова, предприниматель не бедствовал. Выдержанный в светло-серых тонах, с немногими, но уместными картинами, написанными в технике гризайля, интерьер свидетельствовал и о хорошем вкусе бизнесмена. Сам Кирилл Валентинович, невысокий и худощавый блондин с тонкими чертами лица, прямым, хотя и длинноватым носом, был одет в безукоризненный костюм под цвет обоев.

– В нежном детстве, – охотно пошел навстречу сыщику Шестаков, – я увлекался живописью, даже сам пытался рисовать. С годами увлечение забылось, надо было деньги зарабатывать, да что я вам рассказываю, это как у всех... Но вот теперь, когда я кое-чего достиг, припомнилось мне детство. Купил это пресловутое «Дерево», потому что яркое, праздничное, радует глаз. Я сам в подростковые годы мечтал так рисовать. Но через некоторое время картина мне наскучила, выяснилось, что она не подходит к обстановке, к тому же я не коллекционер. Вот и продал ее настоящему коллекционеру.

– Кирилл Валентинович, – прорывался к сути Денис Грязнов, – откуда к вам попала эта картина?

– Никаких секретов. Я приобрел ее у Шанаева, ныне покойного московского ценителя произведений искусства. Он был небогат и не мог позволить себе дорогие покупки, вот и это полотно приобрел за бесценок у какой-то беженки, кажется из Узбекистана. Приобрел... какого числа? Подождите, я сверюсь с ежедневником.

В ящиках письменного стола у Шестакова все было так же пустовато и упорядоченно, как в интерьере офиса. Никакому важному документу затеряться там не удалось бы. Денис невольно подумал, что, если такой же безукоризненный порядок наблюдается у Шестакова в голове, это объясняет процветание его мышино-коврикового бизнеса.

– А экспертизу ее проводил Будников? – Денис продемонстрировал свою осведомленность.

– Да, Николай Будников, мой давний приятель, – подтвердил Кирилл Валентинович. – То, что это полотно принадлежит кисти Шермана, представлялось сомнительным, но на мнение Будникова можно положиться. Он знает русский авангард как свои пять пальцев. В конечном счете именно он повлиял на мое решение приобрести эту картину.

– А на решение выставить ее?

– Нет, это была инициатива Талалихина. Не ожидал, что поднимется такой шум! А что, эта картина связана с каким-то преступлением?

– Нет, – ответил Денис, – или мы пока не знаем. Дело в том, что я по поручению польского фонда Шермана расследую обстоятельства его жизни. Если картина написана в шестидесятые годы, значит, он умер позже, чем предполагается. Значит, другие его полотна тоже могли уцелеть...

– Ага, любопытно. А где он умер?

– На Западной Украине, если историки не ошибаются.

– Почему бы вам не начать расследование оттуда?

– Туда уже отправились работать наши сотрудники.

– Да, это целесообразно. Со своей стороны, как говорится, чем могу – помогу. На днях я уезжаю по делам за границу, но пока что в вашем распоряжении. – На всякий случай Шестаков

положил перед Денисом свою визитную карточку, очень простую, с черными буквами на белом фоне. – Может быть, предоставить еще какие-нибудь сведения?

– Эксперт Будников знает о картине столько же, сколько вы?

– Да, Шанаев рассказал нам одно и то же.

– Тогда, если можно, дайте телефон родственников Шанаева. Вдруг они что-нибудь сообщат об этой узбечке?

– Тогда звоните сразу жене. Дети у него взрослые, живут отдельно. Вообще, примечательной личностью был этот Шанаев! Богатырь, старый авантюрист. Осетин по национальности, изъездил весь Кавказ. Мусульмане, знаете ли, не слишком жалуют православных, но Сослана Теймуразовича уважали в самом диком ауле. Как он умел этого добиваться, бог весть. И отовсюду привозил что-то любопытное, не обязательно дорогое в денежном эквиваленте. Оттуда ковер, отсюда кувшин, покрытый затейливой арабской вязью, еще откуда-то фрагмент саксаула, выросший в форме человеческой фигуры. Поэтому я и назвал его скорее ценителем, чем коллекционером. Его коллекция, если можно ее так назвать, строилась по слишком прихотливому принципу.

– Он вам продал картину за десять тысяч долларов, – снова взгляделся в паспорт «Дерева» Денис. – По-вашему, это много или мало?

– Для Шермана – ничтожно мало, но ведь существовало сомнение, что это Шерман. Мы с Шанаевым друг друга не обманывали.

Денису оставалось поблагодарить и взять шанаевский номер телефона.

– Они будут с вами неласковы, – предупредил Шестаков. – Не удивляйтесь: несчастные русские коллекционеры боятся за свои сокровища и поэтому стараются, чтобы размеров и состава их коллекций никто не знал. Не доверяют даже нотариусам, даже самым задушевным друзьям. А все из-за несовершенства российского законодательства. В Европе частные коллекции охраняются государством, им предоставляют выставочные площади; наоборот, если владелец отказывается выставлять свои сокровища, с него взимают дополнительный налог. А у нас... да, нескоро еще дело сдвинется с мертвой точки!

В тот же день Денис принялся названивать по телефону вдове Сослана Теймуразовича Шанаева. Долгое время никто не брал трубку, наконец откликнулся свежий и звонкий женский голос, и Денису пришло в голову, что кавказский богатырь женился на молоденькой девушке. Но оказалось, говорила не жена, а дочь:

– Мама не подходит к телефону. После смерти папы она в ужасном состоянии.

– Давно умер ваш отец?

– Полгода назад, но она его очень любила. Мы пытались направить ее к врачу, но она не соглашается: дорожит своим горем.

– Как вы думаете, она согласится со мной поговорить по поводу картины?

– Какой картины? В доме папы много картин. Есть даже одна с дарственной надписью Мартироса Сарьяна...

– Картины Бруно Шермана, которую он продал Кириллу Шестакову. Которая попала на выставку русского авангарда.

– Не слышала о такой. Попробуйте поговорить с мамой, но вряд ли вы чего-то добьетесь.

Договорились, что Денис приедет послезавтра в три часа дня, а до этого времени дочь постарается маму уговорить.

Сослан Теймуразович при жизни обитал в отдаленном Бескудникове, но едва Денис Грязнов вошел в подъезд блочного дома, как у него возникло ощущение, что он попал в восточную сказку. Лестница, ведущая к лифтам, была отгорожена бетонной аркой, расписанной под мавританскую, на стенах красовались изображения минаретов, джиннов, ковров-самолетов...

«Очевидно, тоже дело рук Шанаева, – пришло в голову Денису. – И вправду, большой был оригинал».

Квартира встретила его затененными окнами: несмотря на то, что день выдался пасмурный, даже его скудный свет отцеживали жалюзи.

– Сюда, пожалуйста, – негромко шепнула симпатичная брюнетка, проводя его в маленькую боковую комнату. – Мама вас ждет.

Вдова, увешанная, вероятно, всем золотым запасом семьи, с южными глазами, говорящими, что в прошлом она была кавказской красавицей, долго и сосредоточенно рассматривала черно-белые и цветные фотографии, а потом вдруг зарыдала, чем повергла Дениса в смущение. По молодости он совершенно не выносил женских слез.

– Вашему мужу была так дорога эта картина? – спросил он со всей возможной деликатностью.

– Это дерево... в точности, как в моей деревне под окном!

– Понимаете, нам важно знать, откуда ваш муж взял эту картину. – Забывшись, Денис повысил голос, и из-за полуприкрытой двери на него негодуя зашикала дочь.

– Картину...

– Вы ее помните? Когда она появилась в вашем доме? В каком году?

– Разве упомнишь... У нас много картин было. Не задерживались, муж их распродавал...

Ничего не добившись от скорбящей вдовы, Денис раздраженно вышел на просторы Бескудника. Прогнозы о неласковом отношении коллекционеров к тем, кто интересуется их сокровищами, полностью оправдались.

И куда ему было теперь податься?

6

– Подумать только, а ведь это заграница, – притворно-важно проговорил Турецкий.

Грязнов издевательски хмыкнул, озирая окрестности. Львовский аэропорт всячески напоминал об оставленной два часа назад родине: ангары, не крашенные, должно быть, с прошлого века; бестолковое мельтешение пассажиров; зал с каким-то образом уцелевшей росписью, изображающей подвиг граждан советского Львова; запах мочи по углам... Если это заграница, она здорово замаскировалась.

– И тем не менее, Слава, мы находимся на территории чужого, суверенного, если можно так выразиться, самостийного государства...

– Не вижу, – прохрипел Грязнов. Холод в самолете совершенно лишил его голоса.

– Чего не видишь?

– Заграницы не вижу. Пойдем, Сань, двинем по пиву, может, прояснится в глазах.

– Ценная идея. О це дило, как говаривала незабвенная наша Шурочка.

Воспоминание о трагически погибшей Шурочке Романовой с ее украинским говором смягчило отношение друзей к этой отделившейся, но все равно родной земле. Подкрепил улучшение международных отношений чудный кофе в заштатном кафе на территории аэровокзала. Турецкий поначалу отнекивался, отговариваясь своей нелюбовью к благородному напитку, но кофе во Львове действительно оказался феерическим.

– Куда стопы свои направим? – в возвышенном стиле поинтересовался Турецкий, отпивая глоток из кремовой керамической кружки.

– В местный угрозыск. Его знаешь кто возглавляет? Петя Самойленко. В восьмидесятые годы стажировался у нас в МУРе, да ты его должен помнить...

– Это такой толстый, с усами?

– Наоборот, худой и бритый. Бриться не забывал, даже возвращаясь с задания.

– Много воды утекло! Вот увидишь, друг Слава, прав я, а не ты, и Самойленко окажется толстый и с усами...

– Ха-ха-ха!

– Смейся – не смейся, скоро собственными глазами увидишь. Гарантирую: толстый, с усами и, как еще у казаков называется этот, на макушке, клочок волос...

– Хохол? – предположил Грязнов, вызвав молчаливое негодование патристически настроенной официантки.

– Да нет, это, как его... оселедец! С оселедцем. И в синих шароварах шириной с Черное море.

Слава со смеху чуть не пролил пиво.

– Ну, смейся, смейся. Спорим, что так и будет?

– А на что?

– Если продаешь, ставишь мне три бутылки «Старопрамена».

– Заметано. А ты, – Слава вспомнил о своей обещанной Светикову роли опекуна, – если продаешь, примешь сегодня все лекарства, какие доктор прописал.

– Так и быть, уговорил.

Друзья допили кофе и, сообразуясь с купленной в киоске туристической картой и адресом, двинули туда, куда по доброй воле мало кто ходит: во львовский уголовный розыск. Десять утра – самое подходящее время, чтобы приступить к выполнению задания и с головой погрузиться в поиски львовских следов Шермана.

«Я хотел увидеть львов и приехал в город Львов», – припомнил Турецкий строчки из книжки, которую вслух читал Ниночке, когда дочке было лет пять. Книжка не обманывала: львов во Львове на самом деле было не меньше, чем в Африке. Мраморные, каменные, брон-

зовые, белые, позолоченные, позеленевшие, полинялые, надбитые, они опирались на геральдические щиты, приветственно поднимали переднюю лапу, извергали из клыкастой пасти фонтанные струи. Сперва Турецкий их считал, потом сбился и бросил. Со львов он переключился на разглядывание женщин и через пятнадцать минут ходьбы составил благоприятное заключение о красоте украинок. Хотя, возможно, к местным примешались туристки, способствовавшие повышению показателей.

Сотрудники львовского уголовного розыска были не так уж любезны с приезжими, не освоившими национального языка, но стоило назвать имя Петра Самойленко, как Славу и Сашу беспрепятственно проводили в кабинет, где из-за стола, заставленного телефонами, трезвонившими то одновременно, то вразнобой, поднялся, радушно раскрывая широкие объятия, знакомый и незнакомый человек:

– О, то ж, мабуть, Славка? Эге, и Сашко здесь! Ото ж файны легини! Що, не розумієте? «Файны легини» – це по-нашому, по-львівськи, гарни хлопці!

«Гарни хлопці», не сговариваясь, подавились смехом. Пролетевшие годы, которые вообще мало кого красят, вместе с модой на национальный украинский облик сделали Петьку (Петро) похожим на нарисованный Турецким портрет. Вот только оселедец никак не сумел отрасти на гладкой, как коленка, загорелой лысине, и казацкие шаровары в обмундирование украинской полиции не входили. А вот что растолстел Петька да усы отрастил – это Турецкий предсказал точно.

– Чего вы з мени смеетесь? – недовольно спросил Самойленко и вдруг сам захмыкал, похлопал себя по животу и по лысине. – Що, дуже я закабанел?

– Закабанел, Петя, закабанел! Кабанчик хоть куда!

– Не стесняйся, Петя, – утешил Грязнов, – ты лысый, я седой, в общем, два сапога пара.

– Сколько лет, сколько зим...

Самойленко никак не желал взять в толк, что друзья приехали к нему хотя и неофициально, но по делу, и порывался рекомендовать им лучшие гостиницы и рестораны города. Но стоило ему услышать о том, что дело связано не с современными львовскими уголовниками, известными Петьке наперечет, а с каким-то художником, который проживал в городе аж в сороковых годах, веселость как рукой сняло. Самойленко протестующе замахал перед собой выставленными вперед пухлыми ладонями.

– Ни, ни! Я ниць не знаю! Дуже давно це було.

– А кто знает? – не отставали друзья.

С утробным стоном, выдававшим, что дружба – дело нелегкое, Самойленко вызвал по внутренней связи неприметного, но явно опытного в канцелярских делах подчиненного и вручил ему данный Турецким адрес довоенного проживания Бруно Шермана с поручением узнать, кто из львовчан, бывших тогда его соседями, до сих пор жив и находится в городе. Пока бойцы вспоминали минувшие дни и, кстати, чуть не поссорились, разойдясь во мнениях, как звали по отчеству начальника МУРа в 1962 году, список жильцов был готов. Самойленко просмотрел его, шевеля усами:

– Мабуть, Колошматенко? – демонстрировал он отличное знание старейших граждан Львова. – Ни, тот зовсім глухий, як тетеря. Мабуть, Фабер? Фабер хворає дуже. Але ж поспробуйте...

Итак, для начала решили обратиться к Леопольду Робертовичу Фаберу, проживавшему до войны рядом с Шерманами. Дверь открыл седой человек в очках с толстыми стеклами, и Турецкий успел подумать, что для своих лет Фабер отлично сохранился. Но этот Фабер, тоже пенсионер, судя по тому, что оставался дома в такой неурочный час, удивил их, когда указал за окно:

– Дедушка вон там, во дворе. Идите и спрашивайте.

Леопольд Робертович сидел на скамейке под липой и подремывал, положив руки на трость. Был он до костлявости худ и элегантно обряжен в черный костюм с белой рубашкой и гладким черным галстуком, будто для того, чтобы облегчить заботы близких в случае собственных похорон. Несмотря на физическую дряхлость, разум его сохранился, и разговаривал он по-русски безупречно, с некоторыми старомодными оборотами. Старику доставило радость побеседовать о тех, кого он знал в те годы, когда находился в расцвете сил.

– Бруно? Как возможно его забыть! Все у нас были скандализированы его смелыми высказываниями, его картинами. Некоторые картины рождали прямо-таки испуг... До войны, насколько я могу судить, в Польше он прославился как художник. Незадолго до нападения нацистской Германии на Польшу ему ведь предлагали уехать из страны, где оставаться для него вскоре станет смертельно опасно. Его жена, Ева, последовала этому совету и с двумя малолетними детьми, преодолевая колоссальные трудности, через Францию, а затем Португалию эмигрировала в США. Супруги расстались легко, по-моему, он никогда ее не любил, знаете ли, но это антр ну, то есть между нами... Бруно Шерман, вопреки всякой логике, но предельно логично для себя и для тех, кто был с ним знаком, в трудный час он не пожелал покинуть родину. Он считал себя поляком, был отменным патриотом и полагал, что польская армия – самая сильная в мире. Она должна дать отпор обнаглевшим немцам! Но сам он в армию не пошел, он выбрал иную дорогу. Каким-то фантастическим образом перешел польско-русскую границу... Представляете, летом 1941 года бежать в СССР! Бруно обожал идеи коммунизма и считал, что в стране Ленина – Сталина творится прекрасная утопия, о которой мечтало на протяжении столетий все человечество. Учитывая советскую шпиономию, удивляюсь, как это его любимые коммунисты сразу не показали ему, где раки зимуют. Да-а. Не успели. Судьба распорядилась по-другому...

– Его расстреляли? – В вопросе Турецкого крылись подводные камни. Старик тяжело покачал головой.

– Не сразу. И не со всеми. Вы подразумеваете, тогда, со всеми евреями? Нет. Он бежал. Он был очень ловок и физически развит, прямо-таки атлет. Его долго искали, меня тоже допрашивали, но я ничего не знал. Ничего не знал... Только потом выяснилось, что всю оккупацию Шерман скрывался у прачки Фимы – Фимы Каплюк, у нее еще был собственный домик на окраине. Жива ли она еще, не знаю: я ведь давненько никуда не выбираюсь, за исключением этого двора...

– Значит, хорошо скрывала, – глубокомысленно заметил Грязнов, – если всю оккупацию продержался.

Фабер пожевал морщинистыми губами, пошевелил лицевыми мускулами, словно вдвигая на место вставную челюсть. Что-то тяготило его, и он как будто бы размышлял: сказать или не сказать?

– Вы знаете, – склонился он наконец к первому варианту, – при немцах был безукоризненный порядок. Такой порядок не позволил бы еврею долго скрываться. Я слышал... конечно, это может быть и неправдой... будто бы Шерман жил у Фимы с согласия властей. Иными словами, он сотрудничал с нацистами.

– Как? Зачем бы немцам понадобилось его сотрудничество? Он же был всего лишь художник. Как он мог работать на немцев? Агитационные плакаты, что ли, писал?

– Ничем не могу вам помочь. Возможно, это всего лишь слухи.

С радостной вестью Турецкий и Грязнов возвратились в угрозыск, потребовав от Петра Самойленко адрес Фимы Каплюк, если она жива. Петро расцвел: фамилия Каплюк оказалась ему знакомой.

– О! Бабка Васильовна! – заорал он. – То ж ридна титка мойого батька! Почекайте, друзи, я зараз!

«Зараз», то есть «сейчас», Петра Самойленко растянулось на полтора часа, в течение которых Грязнов и Турецкий бродили по коридору, такому же шумному, запыленному и канцелярскому, как коридоры всех угрозысков в мире, и читали расклеенные на стенных стендах инструкции, пытаясь совершенствоваться в украинском языке, что вызывало у них временами приступы дикого хохота. Словом, они неплохо провели время. Наконец из кабинета к ним вышел Самойленко, ощупывая спрятанную под пиджаком кобуру. Это заставило Турецкого подумать, что в семье Самойленко – Каплюк сложные отношения между родственниками.

– Надолго до нас? – осведомился Самойленко.

– Как получится, – осторожно ответил Турецкий. – Может, на неделю, может, на месяц.

– А раз надолго, – пришел к заключению Самойленко, – я вас до Васильовны и поселю. Краще, ніж у готеле. Сама кормить вас буде, а як вона готує! О, смачно, дуже смачно готує. Васильовна, вона ж комнату сдає, тільки ніхто ту комнату не бере. Раньше туристив було багато, а зараз туристив дуже мало.

Турецкий и Грязнов не успели еще оценить предложения снять комнату у неведомой Васильевны, а Самойленко уже вел их через центр родного города, отпуская любопытные комментарии о каждой встреченной достопримечательности. Он успел поведать про усыпальницу богатого купеческого рода, про возведенный молдавскими господарями собор, про средневековую аптеку... Турецкий слушал вполуха, погруженный в собственные мысли.

Бруно Шерман сотрудничал с гитлеровцами? Слухи, конечно, Фабер прав, скорее всего, просто слухи. Но странно, что по прошествии более чем пятидесяти лет граждане независимой Украины повторяют эти басни. А что, если это не басни? Как иначе еврею удалось бы уцелеть в мясорубке, устроенной во Львове нацистами?

Бруно Шерман был коммунистом. Весьма вероятно, львовские коммунисты его знали, принимали, как своего. По заданию немцев он способен был превратиться в провокатора, выдать коммунистическую агентурную сеть... Способен ли? «Гений и злодейство – две вещи несовместные», знал Турецкий со школьной скамьи, но сколько раз ему встречались одаренные и даже талантливые люди, которые ставили свои способности на службу отвратительным целям. Случай с Шерманом – более легкий; допустим, в гестапо, под дулами автоматов, его поставили перед выбором: сотрудничество или смерть. Только в советских книгах и фильмах убежденный коммунист моментально выбирал смерть. А если Шерман выбрал жизнь, пусть даже ценой предательства, кто из живущих в отсутствие такого фатального выбора посмеет его обвинить? И тем не менее...

Настроение Турецкого упало. Он уже успел чуть-чуть привыкнуть к художнику, чьи картины... нельзя сказать понравились, скорее резанули зрение бескомпромиссной правдой. Как бы там ни сложилось, Шерману он не судья. Обязанность Турецкого – добыть информацию и представить ее Ванде Завадской.

7

Тем временем агентство «Глория» жило своей повседневной жизнью. Агеев отрабатывал версии убийства профессора Степанищева. Повальное сумасшествие по поводу русского авангарда, которое обуяло сослуживцев, заранее поделивших фантастический гонорар, его не коснулось, чему он был очень рад: вершиной искусства для него были песни Вики Цыгановой и футбол по телевизору. Пускай коллеги, как хотят, изощряются в поисках художников и картин, Агеев – человек простой. Почему людей убивают? По тривиальным мотивам: деньги, любовь, власть. Время такое – в первую очередь надо зарабатывать деньги. А может, и ничего. Может, просто не понравился старикашка каким-то молодым олухам... Эх, где наша не пропадала! Все равно работы не миновать.

Для начала он посетил скромную двухкомнатную квартиру профессорской вдовы на десятом этаже блочного дома с видом на пруд. Ничего грандиозного с виду квартирка не представляла, о громадных доходах не свидетельствовала. По мнению вдовы, поиски должны были начаться с той железнодорожной станции, где нашли тело покойного профессора. Поэтому удивлению Людмилы Георгиевны, когда сыщик ввалился в ее квартиру, извлекая какую-то хитрую механику, не было предела.

– Что это такое?

– А это у нас, почтеннейшая Людмила Георгиевна, воровская техника. Называются эти две машинки интраскоп и интравизор и позволяют видеть стены насквозь.

– Вы что-то ищете? Вы хотите найти какой-то тайник? Но уверяю вас, это немыслимо! Муж от меня ничего не скрывал. Он был у меня под контролем... то есть, я имею в виду, мы постоянно были вместе. Вместе вырастили детей, всю жизнь проработали вместе, вдвоем ходили в гости и в театр, вместе отдыхали на даче и не скрывали друг от друга ничего. Понимаю, ваша работа развивает цинизм, вам трудно в это поверить...

– Все возможно, дорогая Людмила Георгиевна, – балагурил Агеев, попутно отметив, что жизнь покойному сахаром не казалась. – Бывает, что в матрасах бомжей миллионные состояния находят. Может, и вам муж оставил кругленькую сумму, обрадовать вас хотел?

– Деньги? – всплеснула руками вдова. – Откуда же их взять?

– Неучтенные доходы? Наследство?

– Ничего похожего. Он, правда, вспоминал, что род Степанищевых был не бедный. Собственную лавку держали до революции, ну а при советской власти все потеряли. Где же найти? Если бы что-то осталось, я думаю, мы бы с хлеба на воду не перебивались.

– Гм... Он случайно не вел дневник?

– Дневник? Вел... но...

– Понял. Очень личное?

– Нет. Вот именно, что совсем не личное. Он заносил в тетради погоду, температуру воздуха, политические события. Говорил, что спустя сто лет по его записям можно будет восстановить лицо века. Так что, – вздохнула вдова, – разгадке его смерти они вряд ли помогут. Впрочем, можете посмотреть.

Людмила Георгиевна вынесла перевязанную шпагатом стопку общих тетрадей. Самые ранние записи, очевидно, находились под коленкоровыми обложками, последние тетради блистали аляповатостью современной полиграфии.

– Пожалуйста. Хотите почитать?

– Нет, лицо века восстанавливать вроде как бы рановато, – тяжеловерсно сострил Агеев.

– Вы человек молодой, вы не в состоянии оценить силу воспоминаний. А мы с Иваном Владимировичем иногда перечитывали самые ранние его тетради и так радовались, воскрешая прошлое!

В глубине души Агеев отметил, что Людмила Георгиевна не потерпела бы, чтобы Степанищев вел дневник, который нельзя читать вдвоем, который предназначен для личного употребления, в чем, собственно, и заключается функция любого дневника. Оставалось надеяться, что где-нибудь да обнаружится настоящий, тайный дневник. Запрятанный с особой, изощренной тщательностью. С такими женами к концу жизни мужчины обычно приобретают неплохие шпионские навыки.

Беседуя с вдовой, он не прекращал своей работы. Не найдя ничего в комнатах, переместился в коридор. Коридор тоже не принес особых открытий. Оставались туалет и ванная, точнее, совмещенный санузел. Людмила Георгиевна перемещалась следом за Агеевым, позволяя себя допрашивать.

– А телефонная книжка?

– Есть, есть! – обрадовалась вдова. – Следователи смотрели...

– Есть ли там номера людей, с которыми вы не знакомы?

Вдова только собралась ответить, как ее прервал гулкий звук.

– Господи! – ужаснулась она. – Что вы делаете с трубой?

– Спокойно, почтенная Людмила Георгиевна! Мы и сыщики, мы и сантехники, сами все развалим и сами починим. Идите сюда, посмотрите, не бойтесь. Ларчик просто открывался.

Канализационные трубы, согласно проекту, были заключены в особый шкаф. В нижней части этого шкафа открывалась дыра в вентиляционную шахту, куда был вмурован и прикрыт кирпичами деревянный ящичек. Снаружи ничего разглядеть не удавалось, к тому же человек, не осведомленный о секрете, вряд ли захотел бы свешиваться вниз головой и копаться в многолетней грязи. Заметно испачканный Агеев явился на белый свет, сжимая в руке прямоугольник желтого в красный цветочек целлофана.

– Вам это ничего не напоминает, Людмила Георгиевна?

– Напоминает. У нас была такая занавеска для ванны, потом порвалась, и муж ее выбросил. Но что это означает?

– Означает, что в этот обрывок было что-то завернуто. Вопрос: что?

Агеев шел по следу с упорством сыскающего фокстерьера. Что за вещь мог содержать тайник? Ничего подходящего по размеру и форме жена профессора Степанищева в доме не помнила. Пришлось обратиться к друзьям, коллегам по университетской кафедре... По их словам, Степанищев в последнее время постоянно искал возможность пополнить свои доходы. Доходило до смешного: он, профессор, занимал должность лаборанта, предназначенную для молодых людей, пытающихся поступить в институт, лишь затем, чтобы получить скудные лаборантские деньги!

– На что ему требовались деньги? – с прямоотой человека, привыкшего к быту и нравам обитателей дна, расспрашивал Агеев. – Женщины, наркотики? Привычка жить не по средствам?

Коллеги пугались. Кое-кто реагировал надменно:

– Как это ни удивительно таким, как вы, ничего подобного у профессора не было и быть не могло. Он навсегда останется в наших сердцах образцом человека кристально чистого и честного.

Агеев мог перечислить с десятков случаев, когда максимально чистый и честный в глазах окружающих человек оказывался преступником, способным на такое, на что не пойдет самый что ни на есть матерый рецидивист. Но мнение свое оставил при себе. И опрашивал всех, не исключая самых незначительных личностей.

– Иван Владимирович, – сочувственно покачала головой, обвязанной самовязанным платком, старушка гардеробщица, – очень хороший был человек, царствие ему небесное. Только в последнее время что-то сдал.

– В каком плане «сдал»?

– А в плане здоровья. Похудел он сильно. Пиджаки, что раньше были впору, как на вешалке болтаться стали. Да ведь только он не своею смертью помер, а от несчастного случая... Под поезд, что ли, попал?

С кафедры путь лежал прямиком в поликлинику. Там поупирались, ссылаясь на медицинскую тайну, но после обработки Агеева, который ссылался на то, что совершено убийство, а при таких обстоятельствах все тайное обязано становиться явным, подняли из архива еще не ликвидированную амбулаторную карту Степанищева.

– Да, Иван Владимирович Степанищев неоднократно обращался по поводу желудочного дискомфорта, запоров, болей в животе, резкого похудения. На рентгенограмме обнаруживается полип толстого кишечника. По этому поводу мы направили его на консультацию в Онкологический центр имени Блохина на Каширке.

– Полип – это рак? – спросил Агеев.

– Полип – это просто форма роста новообразования. Доброкачественное оно или злокачественное, должна показать биопсия, то есть взятие кусочка опухоли на анализ.

– Понятно, – согласился Агеев, хотя до конца не понял. В конце концов, для расследования это было не важно. Важно другое...

В известный всей Москве онкоцентр, как выяснилось, Степанищев не обращался.

– Я могу примерно представить, что происходило в душе этого человека, – сообщил Агееву психолог онкоцентра. – Предположение страшного диагноза вызвало у него панику, настолько серьезную, что он не мог решиться проверить, действительно ли его диагноз так страшен. К тому же, попрошайки, заполонившие московское метро, с их постоянными плакатами «Болен ребенок. Рак. Подайте на лечение» приучили несведущих людей к мысли, что на лечение онкологических заболеваний требуются огромные деньги. Это не так. Приходите к нам, пожалуйста, мы всех лечим бесплатно!

– Спасибо, как-нибудь в другой раз, – поспешно отшутился Агеев.

– Эти случаи настолько распространены, что я даже не удивляюсь. Каждый день приходится встречать нечто подобное.

Что-то все равно не сходилось, что-то беспокоило Агеева. Подкаблучник, которым рисовался ему Степанищев, признался бы в своей болезни прежде всего жене, предоставив ей добывание лекарств и переговоры с врачами. Зависимость имеет свои приятные стороны... Тогда что же?

Завесу приподнял Степанищев-сын, сам уже отец дочерей-близняшек:

– Только не рассказывайте маме: ей будет больно... Отец собирал солдатиков.

– Солдатиков?

– Ну да, оловянных солдатиков. Коллекционных, дорогих. Маме это не нравилось, она постоянно ворчала, что прорва денег улетает в трубу, что лучше бы купил пальто или ботинки. Отец прятал от нее коллекцию, потом вот переместил ее ко мне. Рассматривал ее и мечтал. Он вообще о многом мечтал. Жалел, что не успел попутешествовать: пока молод был, не выпускали из страны, а теперь нет денег...

Агеев смотрел на миниатюрных тевтонских рыцарей и наполеоновских драгун, и ему становилось грустно...

Версия, что профессор Степанищев, уверовав в неизлечимость своей болезни, собирался гульнуть напоследок, казалась сыщику все более реалистичной. Но откуда взялись деньги?

– Людмила Георгиевна, ваш покойный муж общался со своими родственниками?

– У него не осталось родственников. Только брат, который проживает в Подмоскovie, в каком-то незначительном городке... Ах да, Реутово!

– Вы случайно не знаете его адреса?

– Поищу, если нужно. Но, уверяю, они давно прекратили всякое общение!

Надежда на то, что неизвестный брат Степанищева может что-то знать, была крайне слаба. Но следовало проверить все возможности.

В огромном тренировочном зале, насыщенном запахом пота, стоял привычный шум: крик, короткие вскрики и звук ударов об пол. Одетые в облегающие штаны и свободные белые рубашки, тренирующиеся бросали друг друга через плечо, через колено, заламывали руки, ноги, запрокидывали назад голову противника. Все это, разумеется, символически, вполсилы: действуй они по-настоящему, зал через пару минут представлял бы собой поле боя, усеянное мертвыми телами, а победитель, измочаленный и перекореженный, попал бы сперва в реанимацию, а потом под суд. За ходом занятий наблюдал тренер: мужчина лет пятидесяти, с красноватым морщинистым лицом, с избыточным весом, на первый взгляд совсем не атлетического телосложения. Кого-то поправлял, кого-то одергивал, сам оставаясь в стороне, словно не был способен на боевые подвиги. И только Севе Голованову не нужно было объяснять, что любой уличный хулиган или уголовник, пусть даже обладатель шикарной мускулатуры, выращенной путем качания железа, не смог бы причинить и малейшего вреда этому человеку.

Здоровяка, чьи скрытые спортивным костюмом мышцы не производили сногшибательного впечатления, но и не переродились в жир, звали Виктором Никитиным. В Афганистане они с Головановым служили в одном подразделении ГРУ. В отличие от Севы, который предпочел стезю частного сыска, Никитин остался на военной службе, но в качестве знатока единоборств. В знании многочисленных техник рукопашного боя ему не было равных.

Голованов постарался завязать разговор, начав с военных воспоминаний. Однако Никитин добродушно, но настойчиво оборвал его:

– Что было, Сева, то было, того уж не вернешь. Прошлое у нас общее, а вот настоящее разное. Так что уж говори, что тебе в твоём настоящем от меня понадобилось. Дела службы?

– Службы, Витя, ох, службы...

– Предоставить тебе парней?

– Это бы полбеда. Я с убийством...

– С убийством?

Оба настороженно обвели взглядами застланное плотным зеленым ковром поле тренировки.

– Стоп! – Никитин, сцепив руки в замок, помахал ими над головой. – Пятиминутный перерыв!

По залу прокатился вздох облегчения. Кое-кто расслабленно упал на ковер, а особенно стойкие тут же принялись, не тратя времени даром, выполнять упражнения на растяжку мышц.

Личное помещение, куда привел Никитин старого боевого товарища, напоминало кабинет врача, в котором периодически читают лекции по гражданской обороне. Анатомические схемы, показывающие человеческое тело в различной степени обнажения: просто голый человек, человек, состоящий из мышц, человек как конгломерат сосудов и нервов, скелет... Все это великолепие разделено на секторы, усеяно стрелками с латинскими и русскими названиями. Вперемежку со схемами к стене приклеены скотчем таблицы, покадрово расписывающие поведение в случае ядерной тревоги. В шкафу за стеклом – кубки, спортивные грамоты, тускло отсвечивающие награды. Стол, белый вертящийся стул, покрытая целлофаном кушетка, словно позаимствованная из процедурного кабинета.

– Неплохо устроился! – озирался вокруг Голованов.

– Да, оброс я вещами, Сева.

– И спишь, что ли, здесь? Когда баба выгоняет?

– Да нет, лежак для того, чтоб вправлять моим подопечным мелкие вывихи. Не звать же медиков из-за такой ерунды. Мы в Афгане сами себе и друг другу повязки накладывали, кровь

останавливали. Бывало, не пикнешь даже. Эх, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя... Показывай, что там у тебя.

Сева, не тратя слов, выложил перед Никитиным заключения судмедэкспертов и собственные примитивные рисунки, показывающие, каким образом мог произойти разрыв шейных позвонков.

– Котик, – произнес Виктор странное ласковое слово: негромко, будто окликаая животное. Сева Голованов даже заглянул под стол, уверенный, что там скрывается кошка. Но в кабинете тренера не было никакой кошки.

– Какой котик, Витя?

– Какой, спрашиваешь, котик? – с добродушной хитрецей повторил Никитин. – Не простой котик. Морской котик тут действовал...

– Брось подтрунивать, Витя, рассказывай!

И эксперт, отбросив иронию, заговорил.

В годы, когда холодная война подвигалась к своему логическому концу, советское командование стало заимствовать с Запада разнообразные вещи и методы, которые, по их мнению, должны были привлечь на нашу сторону победу. К числу заимствований можно отнести и особые подразделения морских пехотинцев, десантников, созданные при флоте. Такая группа, относившаяся к Северному морскому флоту, носила название, тоже позаимствованное у американцев: «морские котик». В практику «морских котиков» входило как отличное владение разными видами холодного и огнестрельного оружия, так и умение убивать голыми руками. Описанный судмедэкспертами почерк – умение свернуть шею, повернув голову резко влево или вправо, так, чтобы человек даже пикнуть не успел, исключив тем самым возможность подачи сигнала, характерна именно для «морских котиков». Помимо умения для такого поступка необходима и физическая сила, мощных парней подбирали в эту группу. Элита как никак!

– Дело военное, как ты понимаешь, Сева, живое. Как на всякой службе: кого-то взяли, кого-то уволили, кто-то, должно быть, сам отсекся... Так ты поищи, Севыч. Среди тех, кого уволили, особенно тщательно поищи.

– Виктор Сергеич, – взмолился Голованов, – ты не мог бы сам обратиться к тем, кто ведал «морскими котиками»? Такие люди на меня и взглянуть не захотят.

– Дела, Сева, – лицо Никитина окаменело, – у каждого свои дела. Тебе надо, ты и копай.

Выражение лица Виктора Сергеевича полностью изменило этого человека. Из добродушного полноватого гражданина, каких много ходит по улицам, он моментально преобразился в того Никитина, которого Голованов уважал и побаивался. Такого, каким Сева запомнил его по той войне...

...Белые дувалы, белая, осолоневшая, потрескавшаяся от солнца земля. Обжигающий зной, но это еще полбеды. Сверху – снайпер. Засел на горке, охраняющей подступ к селу, и не дает выйти. Вот влипли! Позади – поле «лепестков»,² впереди и сверху – снайпер, по бокам – сплошные белые заборы. Если остаться лежать тут, ранеными, истекающими кровью, никто из местных жителей не шевельнется помочь, перевязать. Не по злобе: согласно их верованиям, мужчина, погибший в бою, попадает в рай, и мешать ему наилучшим образом завершить жизненный путь – это преступление. Как им объяснить, что мы атеисты, и ни рая, ни ада нам не положено! В минуты, когда тело заливают смертельный пот, особенно веришь, что жизнь одна и ничего, кроме нее, не будет. И умирать так не хочется!

Никитин вскакивает на дувал, тянет его за собой. «Ты что, верная смерть», – хочет возразить Голованов, но уже проваливается следом за ним во двор, откуда, как из укрытия, они начинают вдвоем шпарить в направлении снайпера из подствольных гранатометов. Испуганно

² Противопехотные мины в форме лепестков.

округленные глаза ханумки³ – единственная деталь лица, проглядывающая между двумя кусками белой ткани, верхним и нижним. Никитин, не оборачиваясь, кричит ей что-то по-афгански, и она, привыкшая повиноваться мужчине, стремглав несется в дом. Подствольник накалился, обжигает руки, зато снайпер затих. Это могло быть хитростью, но не стало. Снайпер на самом деле оказался мертв.

Потом они, поднявшись на горку, рассмотрели того, из-за которого едва не нашли в земле за дувалами общую могилу. Снайпер, чья разорванная грудь превратилась в черно-красные лохмотья, был очень молод... да что там, мальчишка лет пятнадцати. Наверное, кто-то из воинов Александра Македонского, потоптавших когда-то афганскую землю, оставил ему в наследство этот греческий нос, этот широкий низкий лоб с падающими на него вопреки мусульманскому обычаю крутыми кудрями. Согласно нормам общечеловеческого гуманизма, Голованову полагалось пожалеть такого молодого противника, но кипевшая в нем ярость, с которой они метались, уклоняясь от снайперского огня, заставила пнуть тело. Мертвая голова пассивно перекатилась вверх другой щекой, к которой прилипли песчинки. Пнул бы и во второй раз, в застывшую, но все еще пригожую физиономию, если бы Никитин не удержал его: «Отставить! – И объяснил мягче: – На кого злишься? Он хотел убить нас, мы убили его, расчет окончен».

И прибавил с отцовской мудростью: «Если в таком молодом возрасте стал героем или убийцей, дальше его участь была бы незавидная...»

– Чего там, – через силу сказал Голованов, – я понимаю, Виктор Сергеевич, нельзя так нельзя. Мы друг друга понимаем, верно? Уж мы-то набродились с тобой по «лепестковым» полям, когда из-за дувалов выглядывает смерть в парандже. Ты извини, что красиво выражаюсь, но ведь так оно и было, если задуматься.

Неизвестно, пришел на ум Никитину тот же самый или другой эпизод их боевого прошлого, но он смягчился. Вместо грозы душманов перед Головановым сидел на табуретке добрый тренер, по совместительству собственноручно лечащий травмы своим подопечным.

– Задал ты мне задачу, Сева! Так и быть, разыщу твоих «морских котиков». Больше не мяукнут!

³ Афганская женщина.

8

Львов – город небольшой. Подъехав несколько остановок маршрутным такси, москвичи в сопровождении начальника угрозыска очутились на окраине, где росли роскошные лопухи и белели частные дома. Самойленко бесцеремонно постучал в ворота, за которыми скрывался такой дом.

– Васильовна! Хэй!

Никто не отозвался.

– Старенька, – извиняющимся тоном сказал Самойленко, – ей, мабуть, лет сто.

Подождали. Прислушались. Открывать никто не спешил, а из-за забора доносились подзвончившие звуки. Приглушенный диалог мужских голосов и вдруг, без промежутка, треск ломаемых веток, будто кто-то продирался сквозь кусты. Шестое чувство работника сыска подбросило Турецкого на забор, за ним последовали Грязнов и Самойленко.

– Васильовна!

Бабка Васильевна спешила открывать, и теперь уже наши знакомые почувствовали неловкость за вторжение на чужую территорию.

Для предполагаемых ста лет старуха отлично сохранилась, при этом держалась активнее немощного Фабера. «Возможно, – подумал Турецкий, – человек после определенного возраста уже не стареет, а живет дальше не меняясь». Васильевне с успехом можно было дать и восемьдесят, и девяносто, и сто пять лет: она была какой-то вневременной. Черная в мелкий горошек юбка до пят, фартук, белая рубашка с вышивкой и завязанный вперед концами платок на голове подчеркивали это определение: бабка из сказки. «Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком...»

– Хтось-то до мене? – низким, слишком грубым для ее хрупкой фигурки голосом спросила сказочная бабка Васильевна. – Ой, а я така затуркана, така затуркана...

– Добри дэнь, Васильовна! Це я, Петро. Жильцев тоби подсуроплю. Файни легини, друзи мои...

Заспанной старуха не выглядела. Глазки у нее были хоть и крохотные, запятанные в морщинистых мешочках век, зато острые и пронзительные, все замечающие.

– К вам во двор кто-то залез, – объяснил наконец Турецкий, как только они оказались по сю сторону чужого забора. – Может, это были воры. Проверьте, все ли цело.

Васильевна всплеснула морщинистыми коричневыми руками. Бросилась туда, сюда. Запричитала над сломанными кустами смородины. Не слушая ее причитаний, трое мужчин поспешили по следу, который привел к задней калитке в заборе. Калитка была приотворена. Она закрывалась изнутри на обычный крючок, который, очевидно, злоумышленники просто отбросили. На песчаной дорожке отпечатался след кроссовки.

– Сорок второй размер, – на глаз прикинул Грязнов. – Присылай экспертов, Петя.

– Нехай Васильовна скаже, чи пропало що у ней, – лениво отозвался начальник львовского уголовного розыска.

Васильевна в сопровождении корпуса защитников прошла в дом, где после перерывания заветных сундуков во всеуслышание провозгласила, что все ее добро на месте. Похоже, пришельцы ничего не взяли. Похоже, они не успели забраться в дом. Нет, не собирается она подавать никакого заявления... Пока старуха искала признаки кражи и взлома, трое многоопытных сыскарей обошли с ней весь дом, состоявший из четырех просторных комнат и темноватой кухни.

– А тут что у вас? Кладовка?

– Так, кладовка. Та вона ж запэрта.

– Отоприте.

Выудив из-под фартука заржавелый, со сложной бородкой, ключ, Васильевна долго ковырялась в замке и наконец распахнула дверь, нажав на ручку. Открылся темный, без окон и электрического освещения, чулан, в котором до потолка горой был навален всякий хлам: садовая лестница, сломанные стулья, банки с консервированными овощами и фруктами, умывальники, ведра, лопаты и прочий бестолковый инвентарь, при виде которого Самойленко по-мальчишески присвистнул. Если какой-то ненормальный покусился на это барахло, начальник львовского уголовного розыска дела заводить не станет: себе дороже!

Попутно Турецкий оглядывал внутренность дома с белеными стенами, со старинным комодом, полным загадочно отсвечивающей посуды, с почернелыми иконами, обвитыми вышитыми рушниками. Пахло какими-то духовитыми, лекарственными, наверное, травами. Турецкий подумал, что в условиях такой экзотики отродясь не жил. Правда, хозяйка настоженно посматривала в сторону возможных квартирантов и, похоже, не горела желанием их принимать. С чего бы это? Ей что, гривны лишние?

Против ожидания, Васильевна не отказалась пустить к себе заезжих москвичей. Однако замялась. Петр Семойленко избавил ее от колебаний:

– Чому ни, Васильовна? Вони тебе захитять, колы що. Вид тих хулиганів.

После такого обоснования отказать было бы уже неловко, и Васильевна повела новых жильцов устраиваться. В комнате места хватало. Как раз на двух человек: две койки, два стула, грубо сколоченный деревянный стол. С потолка свисала лампа под простым белым плафоном, вокруг которой водили хороводы мелкие мухи. На одну койку тотчас плюхнулся Слава. Сбросил ботинки, оставшись в одних носках, и блаженно зашевелил пальцами.

– Эй, не расслабляться! – прикрикнул Турецкий. – А за пивом кто побежит, Пушкин? Ты, между прочим, проспорил. Петька Самойленко оказался толстый и в усах.

– Но без шароваров и оселедца. Так что и ты мне проспорил. Принимай лекарство!

– Так и быть, приму. Но вначале расспросим Васильевну, сотрудничал ли Бруно Шерман с немцами, и если да, то как. Не забывай, мы не отдыхать сюда прибыли.

– А для чего ж еще? – вздохнул Слава, но подчинился.

Выпроводив начальника местного уголовного розыска, бабка Васильевна подобрела. Заварила для постояльцев чай, на скорую руку сварганила местное блюдо – печеные баклажаны с картошкой, а за обедом поведала хранимые с давних военных лет воспоминания.

Если отбросить украинский колорит бабкиной речи, поведала она следующее.

Фима, Ефимия Васильевна Каплюк, застала военные годы уже не молоденькой девушкой, а женщиной самостоятельной, матерью пятерых детей. Муж у нее то ли воевал в советских войсках, то ли сгинул еще до войны, о нем она упоминала вскользь и неохотно, но не в этом была суть. А суть в том, что она нуждалась в средствах, чтобы кормить детей, а заработок прачки доходы приносил никудышные. И поэтому предложение коменданта Львова, майора Вальтера Штиха, о том, чтобы поселить у нее жильца, Фима восприняла как манну небесную. Допустим, от предложений немцев оккупированному населению вообще отказываться не приходилось, ну а если за это еще и деньги платят, всегда пожалуйста! А вот жилец ее удивил. Еще до оккупации она встречала на львовских улицах этого человека в компании известного всему городу врача по нервным болезням Мстислава Шермана. Говорили, что это его родной брат. А ведь пана Мстислава немцы в первый же день, как в город вошли, свезли на стадион! Оказалось, что еврей. Надо же, до войны никто и не думал, не гадал, что пан Мстислав еврей, он ведь был верующий католик, а тут, видишь ли, попался вместе со всеми евреями. Там, на стадионе, их стерегли солдаты с автоматами, пока не расстреляли. Как же его брат спасся? Вроде бы убежал, скрывался, точнее она не знает, пан Бруно был из молчаливых. Только рисовал все время, картины писал. Факт тот, что за это его и пощадили. Коменданту очень уж хотелось, чтобы пан Бруно написал портрет с его жены. Как же ее звали? Вот память дряхлая! Мария?

Нет, вроде не Мария, а как-то похоже. Ну, ладно. Самое главное, жена у коменданта была – ох и красотулечка! Волосики такие светлые-светлые и сами собой вились, хоть сейчас Васильевна побожится, что она их не накручивала. Сама стройная, фигурка точь-в-точь как у той фарфоровой балерины, что на комодке стоит. И двое детишек, как те ангелочки. Неудивительно, что герр комендант хотел всегда иметь перед собою портрет жены и детей. Правда, проще было бы фотографию с них заказать, но у богатых свои причуды. Да, впрочем, ведь коменданту обошлось это дешево: только жилье для пана Бруно снимать. А еврей в те годы должен был и тем доволен оставаться, что ему на свете жить дозволено.

Так или иначе, стала жена герра коменданта приходить на сеансы к этому самому жильцу Бруно. Позировать, так это называется. Поначалу с детишками приходила, потом одна. И долго. Мол, взрослого труднее изобразить, чем ребенка. Только ведь у Ефимии Васильевны глаз бабий, ее не проведешь. Слишком надолго они у Бруно в комнате закрывались, а выходили оба раскрасневшиеся, особенно немка. Бруно ведь сильный был, высокий, крепкий, ну а комендантше только того и надо. Позировать-то она ему позировала, только, как пить дать, в голом виде и не для портрета. Уж такие, наверное, позы принимала! Васильевна не вчера на свет родилась.

А портрет он все-таки написал. Говорили, висит в музее. Васильевне ни к чему по музеям шастать. Дел невпроворот. То стирать, то гладить, то козе сена накосить, то банки с консервами закатывать. Вот так и не замечаешь, как жизнь проходит.

А как у Бруно с женой коменданта закончилось? Ох, нехорошо закончилось! В один прекрасный день пропали оба: Бруно и комендантша. У Васильевны немцы сделали обыск: что искали, одному Богу известно, только ничего не нашли. А коменданта почему-то сняли, вместо него стал другой комендант, заместитель его. Ненадолго: в сорок четвертом Львов уже окружили советские войска.

А пана Бруно Васильевна после войны не встречала. Исчез, будто растаял. Странный он был. Вот так посмотришь на него и тайком перекрестишься...

«Романтическая история с комендантшей, – отметил Турецкий. – Раскопать и преподнести Ванде. Разве это не стоит пятидесяти тысяч долларов?»

– Спасите! Выпустите меня!

Снова знакомый пейзаж: голая гора, напоминающая меч, обтекающая ее основание река огненной лавы, похожие на соты входы в пещеры, куда спускаются печальные обнаженные девушки. Турецкий сознает, что он спит, но от этого не легче. Он пытается ущипнуть себя, чтобы разбудить, но пальцы проходят сквозь тело, не соприкасаясь с ним. Он привидение, он туман, он допущен сюда всего лишь как зритель этого отвратительного мира. Он не испытывает физических мучений, но зрелище ада мучительно. Неужели он осужден оставаться в таком состоянии миллионы лет?

И вдруг, повинуясь его невысказанной мольбе, пространство начинает колебаться, и перед ним возникает лицо ангельской красоты. Нет, это просто женщина с очень светлыми, почти белыми, вьющимися волосами. Она смотрит на него с лаской и пониманием. Это женщина, но это и ангел. Она может ему помочь. Она протягивает ему длинные белые руки, но он не в состоянии дотянуться, ухватиться за них.

– Ангел, ангел, не улетай! Ангел!

Из багряных облаков на его голову обрушивается кровавый дождь...

Саша лежит на мокром дощатом полу, фыркая и отплеываясь. В глазах мутится. Сквозь муть проглядывает возвышающаяся над ним фигура Славы Грязнова с чайником, из которого еще льется ледяная вода. На заднем плане возле двери маячит Васильевна, что-то встревоженно квохча по-украински.

– Ну ты и напугал, Турок, – приговаривает Слава, помогая ему подняться с пола и укладывая на кровать. – Я-то думал, капец тебе настал, уже на том свете с ангелами беседуешь. Нет-ет, заруби себе на носу: либо пиво, либо таблетки, но не то и другое сразу.

В голове мало-помалу проясняется. Накануне, выполняя условия пари, Турецкий принял прописанные Светиковым лекарства, а Слава побежал за «Старопраменом». Когда пиво прибыло, друзья на минуту задумались: не даст ли алкоголь в комплекте с антидепрессантами какой-нибудь неожиданный эффект? Благоразумие требовало выждать хотя бы пару часов; бесшабашная уверенность в собственной силе и здоровье, которое не сломить никаким депрессиям, призывала приняться за пиво немедленно. Украинская жара подтолкнула ко второму варианту. Ну и вот... Что заслужили, то и получили. Урок на будущее.

– Таблетки отменяются, – насилу ворочая непослушным языком, пробухтел Турецкий. – Пиво – лучший антидепрессант.

– Сходил бы ты лучше блеванул, герой! Сам знаешь, очистить желудок – первое дело при отравлениях.

– Кто отравился, я? – вопреки очевидности, выразил возмущение Турецкий. – Все нормально, генерал. Давай-ка спать, завтра нас ждет куча дел.

Выпроводив Васильевну, они выключили свет. Турецкий с наслаждением удерживал перед собой образ явившегося в аду ангела, пока не заснул. В остальном ночь прошла спокойно.

С утра они посетили львовскую картинную галерею, в собрание которой входил «Портрет белокурой женщины с детьми» кисти Шермана. Видевший в оригинале ранние полотна художника, которые изображали только пейзажи и натюрморты, Турецкий впился в портрет глазами. Очевидно, к сороковым годам Бруно Шерман окончательно обрел свою манеру, изображая людей с крупными головами, с чрезмерно длинными руками и ногами, искаженно, но тем более выразительно. Способствовало вниманию и то, что черты лица женщины, позировавшей по-классически стоя, держа за руки мальчика и девочку, как показалось, были Турецкому очень знакомы... Хотя нет, скорее всего, показалось. Картина художника-авангардиста зафиксировала подвижное, меняющееся человеческое лицо. Посмотришь с одной точки, оно выглядит так, отступишь на два шага – совсем по-другому. Даже если просто смотреть и смотреть, оно меняется и при этом остается неподвижным. Как этого добивался Шерман? При случае нужно спросить у искусствоведов. Правда, они, скорее всего, разведут руками: тайна творчества!

А жена коменданта, с которой написан портрет, была очень красивой. Нет, «красивая» – неточное слово, лучше подойдет «совершенная», «безупречная». Образцовая арийка гитлеровской пропаганды, мать образцовых немецких детей. Как мог Шерман изобразить в таком виде женщину, с которой занимался любовью? Женщина с плаката, примесь едва уловимой иронии, никакой интимности. Герр комендант должен был остаться доволен. Турецкий почувствовал, что его обманули, обокрали. В чем причина разочарования? Женщину с лицом ангела следовало написать по-другому... Что-что? Турецкий, ты сам-то понял, о чем подумал? Так, значит, он уверен, что это она? Та, которая нынче ночью залетела на легких крыльях в его бред, вызванный злобным сочетанием пива и таблеток? А ведь он не видел раньше ни портретов, ни фотографий комендантши. Откуда взялось, как отобразилось на экране его мозга это прекрасное лицо?

Что-то очень необычное было в этом расследовании. Такого с Турецким еще не случилось. А вдруг прав был Вениамин Михайлович и его пациент действительно сходит с ума? Кажется, подобный исход он предвидел и хотел подбодрить, когда сказал: «Если вам покажется, что с вами происходит что-то необычное, не пугайтесь».

Теперь для Турецкого эти слова наполнились новым содержанием.

9

Частный дом последнего оставшегося в живых старого представителя рода Степанищевых помещался на окраине города Реутова, между магазином пластмассовых изделий и заводом с уныло торчащими продыmlенными трубами, выпускавшим неизвестно какую продукцию. Дом не претендовал на звание родового гнезда семьи Степанищевых: по виду это был типовой барак постройки пятидесятых годов, в прошлом разделенный на две половины. Повидимому, вторая семья съехала на новую квартиру, и Марк Владимирович Степанищев получил в безраздельное владение эту бревенчатую, почерневшую от времени длинную конуру с отчаянно скрипящими полами, убожество которой не слишком удачно декорировал зеленый, пышно плодоносящий яблоневый сад.

Марк Владимирович, похожий на мультипликационного лешего – с белыми кудрявыми зарослями волос, усов и бороды, среди которых выступал розовый пористый нос, – не обрадовался, когда Агеев предложил ему побеседовать об усопшем брате.

– О Ваньке, что ли, спрашивать приехали? – возмутился он. – Убирайтесь! Слышать о нем не желаю!

– Почему? – спросил Агеев. Хозяин вопроса не расслышал, захлопнув перед носом гостя дверь. Тогда Агеев зашел с другой стороны дома.

– Марк Владимирович! – просительно взвыл он в распахнутые настежь окна, в которых сквозняк надувал пузырями линялые желто-зеленые занавески. – Почему вы не хотите говорить о своем брате Иване?

– Потому, – донеслось из глубины комнат, – что он мне теперь не брат, а вор. Мне безразлично, что он умер. Я с ним и на том свете мириться не собираюсь.

– Он украл что-то и спрятал в тайник? – Агеева вынудило выдавать данные следствия предчувствие верно взятого следа. – Он это держал в ванной комнате?

Неожиданно Марк Владимирович возник между занавесок, как черт между ширм кукольного театра, и махнул широкой натруженной ладонью в направлении торца дома:

– Что-то раскопали? Идите, открою, так и быть.

Спустя пять минут Агеев уже прохладился в просторной, но неуютной, населенной грязноватыми запахами хозяйствования пожилого холостяка комнате и, прихлебывая бурду, которую Марк Владимирович горделиво называл черемуховым чаем, слушал историю братьев Степанищевых.

Марк Владимирович, которому в этом году исполнялось восемьдесят шесть лет, хорошо помнил послереволюционные годы – счастливые, наверное, потому, что это было его детство. В их квартире на Красной Пресне с далекими потолками и неоглядной задымленной кухней было много людей, много песен, много примусов, много игрушек, много интересных событий каждый день. И он удивлялся, почему мать ворчит, что в туалет не протолкнешься, что она устает на заводе, что дети играют погаными пищущими пузырями «уйди-уйди», что радио от соседа мешает заснуть, и вообще, так ли они раньше жили! Отец соглашался с ней и, чтобы утешиться или, наоборот, разбедерить раны, вынимал несколько половиц и доставал из секретного места завернутый в блестящую гладкую материю кусок холстины. На холстине были нарисованы разноцветные пятна, и были они вроде кубиков, из которых, если сложить правильно, составляется цельная картинка. Из лазурного фона выступала огромная, желтая, как солнце, буханка хлеба. Сытными, цвета свежего хлеба, буквами красовались слова: «Бакалейная лавка. Степанищев и К°». Среди букв встречались непонятные, но смысл улавливался. А еще на фоне лазури на столе, покрытом алой скатертью, кувыркались, шалили, вертелись солонки и перечницы, из чашки, наполненной чаем, вырастал и распускался лохматый, диковинный, ароматный, несмотря на то что нарисованный, цветок... Братья, Ваня, Марк и Андрей,

очень любили рассматривать эту веселую холстину, и, когда отец доставал ее из хранилища, у детей выдавался праздник.

«Смотрите, дети, – приговаривал отец, – и запоминайте, что род Степанищевых, хотя и мещанский, в Москве не из последних. До революции свою лавку держали».

«Все отняли, – вздыхала мать, – растаяло наше добро, как дым».

«А ты не горюй, Лиза! О добре сокрушаться Бог не велит. Скажи спасибо, что уцелела хоть эта картина из лавки Степанищевых. Посмотришь на нее, и на душе полегчает. Осталась в напоминание, что вот, мол, были когда-то и мы рысаками...»

– А вы чаек пейте, не стесняйтесь, – сам перебил свои воспоминания Марк Владимирович. – Чай полезный, на себе испытал. Добрый чай. Почки промывает, печень. Глаза начинают зорче видеть. Да, травы – великая вещь. Природа – кладезь здоровья. Терзаем мы ее, матушку, мучаем, травим выхлопными газами и бензиновыми отходами, а она нам все прощает. И кормит, и поит, и лечит. Ждет, чтобы одумались мы, ее неразумные дети...

– Марк Владимирович... – Поперхнувшись, потому что черемуховый чай выдержать оказалось труднее, чем боевое отравляющее вещество «Черемуха», Агеев постарался перевести разговор на другую тему: – А какого приблизительно размера была эта картина?

Марк Владимирович без лишних слов отметил на руке размеры. Агеев прикинул: очень похоже на размеры тайника. Только тайник был необычно узким...

– А что, она у вас была в рулон свернута?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.